

Анатолий
СОРОКИН

КНИГА ПЕРВАЯ

ГОЛУБАЯ ОРДА

ВОИН
БЕЗ
ПЛЕМЕНИ



Голубая орда

Анатолий Сорокин

Воин без племени

«ИП Стрельбицкий»

Сорокин А.

Воин без племени / А. Сорокин — «ИП Стрельбицкий»,
— (Голубая орда)

Книга возвращает нас в 679 г., в начало одного, может быть, самого важного из этих жестоких событий, наполненных и кровавыми битвами, и поэтичной любовью, и предательством. Один за другим бесславно гибнут первые предводители тюркского возмущения в Китае, отрубленные головы которых выставляются в Чаньане во Дворце Предков для устрашения других непокорных....Воин без племени – следующий третий еще только нарождающийся вождь отважных кочевников. Тюркское имя его тутун Гудулу, вошедший в историю кочевого прошлого как хан Кутлуг или по народному Счастливец.

Содержание

ОКО СУДЬБЫ	6
Вместо пролога	7
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИМПЕРАТОРА	7
ЗНАЮЩИЙ ТАИНСТВА СМЕРТИ	14
ТЯЖЕСТЬ СОМНЕНИЙ	20
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗВОН КУБКОВ	26
Глава первая	29
МОНАХ И ЗАБАВЫ ПРИНЦА	29
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ ИМПЕРИИ	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Анатолий Сорокин Воин без племени

...Не всегда испытываешь удовольствие, слушая в тревоге ИСТОРИЮ наших далеких предшественников, даже понимая условность ее; еще рискованней, пытаясь по мере сил быть непредвзятым, добавлять к ней свои, несущественные страницы поисков и раздумий, но чтобы жестокое прошлое не забывалось, кто-то должен и это делать жестоко.

Впрочем, смута – всегда только смута, все мы под ее властью, и это уже собственный рок...



Арена Сибирских сражений

ОКО СУДЬБЫ

Было и будет: люди меняют одежды, люди меняют и веру – со временем все вокруг человека и в человеке ветшает. Но над миром вечного, прошлым и настоящим, живыми и мертвыми незримо витает ОКО СУДЬБЫ...

Множество настороженных взглядов было устремлено на Пророка. Люди слушали его, как слушают чужестранца. И тогда Пророк, едва ли надеясь быть услышанным, как хотелось бы, произнес:

– Ближайшая жизнь – только пользование обольщением. Бойтесь Бога, если вы верующие.

Не осознав глубины его сострадания к ним, не все согласились. Помолчав, Пророк тихо добавил:

– Нет у меня заблуждений, я один из посланников от Бога миров. Я передаю вам послание моего Господа и советую вам. Я знаю то, что вы не знаете.

– Не для того ли ты пришел, чтобы мы поклонились твоему Богу и оставили то, чему поклонялись наши отцы? – спросили его. – Ведь пророки были до тебя и до нас, будут и после. Что же ты знаешь такое, чего мы не знаем?

Сохраняя смиренность, Пророк ответил:

– Тот, кто сказал: «Будь!» – и вы стали, и есть Создатель. Помните. Услышьте его в себе, и услышит он вас. Вы – семя и дети Света. Пойдите на Свет, забыв о Злобе и Тьме. Станьте терпимы и будете прощены. Будьте прохожими. И будут первые последними; ибо много званых, а мало избранных.

– Приведи же нам то, чем грозишь, если ты из числа праведных! – вскричали люди.

Слова Пророка были печальны:

– Уж пали на вас от вашего Господа наказание и гнев. Я передаю вам послание Господа моего, я для вас – верный советник, но не любите вы советников. Вы – люди, вышедшие за пределы. И нет на вас греха, если вы будете искать милосердие от вашего Господа.

Не все достигает сознания. Не каждый способен услышать сострадательное осуждение Неба земных неурядиц, сотворенных продолжающими развратничать, грешить, убивать друг друга. И разом упала ночь, небесные хляби разверзлись, блеснули молнии, ударил гром, пролился сметающий дождь – гласят лукавые в чем-то предания веков. А человеку были ниспосланы мучительные испытания за ничтожность его, в которой, по сей день не покавшись, он пребывает...

Он снова распутничает, богохульствует, прелюбодействует, не зная ни меры, ни пределов.

Вместо пролога

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИМПЕРАТОРА УТРЕННЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

День умирал, опадая на изнуренную землю блаженной прохладой. Под сводами огромного летнего сада щебетали пресытившиеся птицы. Журчала вода в мраморных арыках, из сада за позолоченными решетчатыми створками главного входа наплывало божественное благоухание роз, камелий, жасминов. Вечернее застолье с удалцами и сановниками первой руки, завершавшее очередной день божественного правления Китайского императора Тайцзуна достигло высшей точки блаженствующей умиротворенности и сладостного пресыщения, но сам владыка Поднебесного царства был погруженным в себя и отсутствующим. По его скуластому смугловато-желтому лицу, выдающему тюркское происхождение, покрытому глубокими морщинами прожитых испытаний, гуляли странные тени, настораживающие близких и знающих его повышенную чувственность. Не предвещая неожиданностей, вечер шел своим чередом, устоявшимся за годы и годы. Он мог продолжиться пышным приемом посла из далеких земель, льющего дифирамбы мудрому повелителю Китая, провозглашением перестановок среди военачальников, триумфом вернувшегося из далеких степей генерала-полководца, усмирившего новую смуту, и мог стать обычным загулом с поединками удалцов, не чуждыми ни самому императору, ни его воинственной знати. Ненавязчиво, точно с Неба, лилась тысячеструнная музыка невидимых инструментов. Напрягались тонкоголосые флейты, любимые состарившимся китайским владыкой. Из бамбуковой трубы с позолоченным оголовком, изображающим пасть дракона с высунутым языком вместо желоба, в огромную, как бассейн, малахитовую чашу, увитую живыми цветами, струилось вино. Бесшумно, как тени, сновали прислуживающие рабы и рабыни; великолепны были танцовщицы, словно извивающиеся змеи сменяющие друг дружку на огромном ковре в центре залы. Закончив танец, повинувшись властным взмахом рук пирующих, они с приглушенным смехом располагались вольно на коленях у сильных мужчин. Оставляя императора холодным и равнодушным, через каждые два часа по команде дворцовый распорядитель-воеводы Чан-чжи, под гулкие звуки походных барабанов и сиплый рев труб, на каждом из входов в залу сменялись гвардейские стражи – церемония, всегда возбуждавшая повелителя.

Император оставался задумчивым или просто скучал – что бросалось в глаза, и пирующие старались быть сдержаннее обычного. Но правил без исключения не бывает. В какой-то момент императора привлек невозддержанный возглас прибывшего недавно в Чаньань с богатыми дарами нового хагяского предводителя, избранного на сходе старейшин: прежний скончался от старости. Император знал, что начало этому северному краю положил его дальний предок Ли Лин, в свое время отправившийся в военный поход в лесные Саянские урочища на хуннов, закончившийся поражением китайской армии и пленением предводителя. По истечению времени хуннский шаньюй помиловал генерала и, приказав снять колодки, назначил управителем огромных владений по могучей реке в черни Сунга. Дикие хунны давно канули в небытие, суровые окраинные земли на Улуг-Кеме переходят из руки в руки нарождающимся наследникам лучших воинов, в свое время разделивших с Ли Лином судьбу пленников, в конце концов так же помилованным не без его многочисленных обращений к шаньюю и возглавившим отдельные крупные рода засаянского междуречья. Требовалось величайшим указом узаконить права северного вождя, решив попутно и несколько других

важных вопросов степного обустройства, на что у Тайцзуна никак не находилось времени. Возможно, желания что-то менять, кто побывал в него голове?

Оживший на мгновение взгляд императора непроизвольно наткнулся на отрешенно сидящего наследника. Тайцзун вялым жестом руки подозвал распорядителя, что-то шепнул. Струнные инструменты словно бы сбились, послышались суховато сипящие флейты, рассыпалась мелкая дробь барабанов. Два полуголых, шоколадного цвета стража-евнуха распахнули легкие створки одной из дверей залы. Из нее выступил на редкость широкоплечий воин и выпустил нескольких новых наложниц, устремившихся к императорскому возвышению под гул одобрительных мужских голосов.

По-видимому, это должно было стать апофеозом пиршества, способным поднять настроение всему застолью, но случилось обратное.

– Опять Чан-чжи рядом с Цзэ-тянь, – послышался неодобрительный шепот, заставивший повелителя помрачнеть и насупиться.

– Наследник! Наследник Ли Чжи просто съедает глазами!

Прекрасные телом и мастерством воздушного танца наложницы замерли в двух шагах от императора в самых изящных позах. Но юная Цзэ-тянь оказалась ближе других и движения не замедлила. Стройная как ветка лозы, гибкая, с разгоревшимся личиком, в просвечивающихся одеяниях, она готова была, разогнавшись, взлететь ему на колени.

Восторженные глаза наследника, не мигая, следили за ней, император нахмурился, выиграл желваками.

Природа немыслимо разнообразна, за миллионы лет ни разу полностью не повторившись в живых созданиях. По ее прихоти или капризу от сильного рождается слабый, от ничтожного разумом, телом – мудрец или великан... Мысль была не новой, раздраженный взгляд императора опять скользнул по застолью напротив и наткнулся на продолжавшего почему-то не в меру шуметь посланца с лесных берегов Улуг-Кема: должно быть, тому бросились в голову непривычно сладкие вина.

– Не так давно на мосту Вэй мы отрубили головы трем тюркским послам: они дерзко хвалились множеством заслуг перед нами. Ныне сылифа-хагясец, кажется, хочет перешагнуть...

Император поднялся.

Огромная зала в мгновение замерла, музыка оборвалась, распростерлись, словно умерли, полунагие наложницы. Божественная Цзэ-тянь с расширившимися от ужаса зрачками, остановила воздушный полет у него под ногами...

Упала тяжелая могильная тишина.

Да вино нешумно струилось.

Перешагнув дерзкую танцовщицу, император обводил застолье медленно текущим взором.

Он был сердит. Не слушая возгласы вмиг протрезвевшего лесного вождя о преданности хагясов, что лишь усугубляло его глупость и лезло в глаза туповатой надменностью, император уперся острым взглядом в сидящего рядом с ним красивого рыжеголового юношу.

Юноша растерялся и замер, удивив императора тем, что даже не смог потупить беспомощный взгляд или хотя бы испуганно сморгнуть.

Он не был похож на его... сына, умел бояться судьбы, и Тайцзун вдруг усмехнулся.

Узкие глаза его, сузившись на мгновение, снова расширились.

Словно ослабив удавку прозвучавшей угрозы, он произнес, легко вспомнив имя хагясца:

– Глупость должна всегда получать наказание, а испуганное любопытство вознаграждаться. Пришли нам знатных юношей, сылифа Шибекей-ачжан. С этого дня будешь цзетхун-вэй. Достойный князь будешь... Мы чтим твой род, поскольку почитаем дальнего

предка Ли Линя. Твои пращуры были с ним, но, потерпев поражение, побоялись вернуться, оставшись навсегда в далеких холодных землях. В тебе и во мне его кровь. Помни, когда начинаешь болтать в опьянении. Да, Гянь-гунь – так будем звать твои земли. Подчиним Янь-чжаньскому наместничеству, и прекратим ваши раздоры с моими тюрками. Рыжеволосого, – император властно указал пальцем в массивных перстнях на юношу, – оставишь у нас на четыре года. Как его имя, цзе-тхун-вэй?

– Эрен Улуг, Высочайший во власти! Его зовут Эрен Улуг, он мой племянник.

Косясь на винную струю, падающую в чашу, император глухо сказал:

– Продолжайте, скоро вернусь, устроим какой-нибудь поединок на длинных мечях. В конюшню! В последнее время мне по себе только среди любимых коней! – бросил он властно сквозь зубы воеводе Чин-дэ, точно не замечая оказавшегося рядом с ним многолетнего любимца Чан-чжи, заставив последнего сильно нахмуриться.

Когда вышли в сад, он глухо сказал:

– Чан-чжи, ты со мной не ходи, мне хватит Чин-дэ...

Случилось это почти полторы тысячи лет назад, вечером 9 июля 649 года, а наутро, 10 июля, правитель Китайской империи, может быть, самой сильной в Срединной Азии за годы существования мира, китайский император Тайцзун, рожденный под именем Ли Ши-миня, почувствовав сильное недомогание, впервые за двадцать лет правления нарушил незыблемый этикет и не принял для утреннего донесения военного шаньюя-канцлера.

Он лежал на полужестком ложе подобно бесчувственной мумии, не мигая, смотрел в потолок, и тени растерянных чувств металась по его волевому, узкоглазому и не очень холеному лицу. С позолоченного балдахина свисали волны узорчатых шелков, расшитых фантастическими цветами, деревьями, драконами и райскими птицами. Желтокрылые, синеголовые, красногрудые, они будто порхали вокруг, пели бесконечную песнь о любви, страсти, величии, а длиннохвостые драконы дышали огнем и злобой и готовы были пожрать все живое, среди которого до этой минуты самым живым был он, император. Медленное, давно привычное утреннее движение света по балдахину знакомо меняло и краски цветов, и блеск чешуи драконов, и расцветку павлиньих оперений. Но возникла, надвинулась угрожающе огромная тень, нацеливаясь на грудь императора, его душа испуганно встрепетнулась и воспротивилась: казалось, жизнь улетает, оставляя глухую тоску: нельзя было отпустить...

Тоска была оглушительной. В нем ее было много – как в половодье воды в закипевшей реке. Она разрывала его сильную грудь. Привычная радость нового дня, вдруг показалось пустой. По сильному телу императора прокатился озноб и сотряс его крупное тулово. Но всесильный владыка, властелин многих покоренных земель, усмиритель великой тюркской Степи – не пространства, а *Стени*, как единства прошлых держав, орд и народов, – повелитель и вечный воин уже начинал догадываться, что с ним происходит, сохраняя небывалую выдержку и терпение.

Он сделал многое, собрав, укрепил немощную, безжизненно вялую державу отца, обустроив рубежи, сбил спесь, воинственный пыл диких соседей... Он сделал немислимо много! И что сделал, с ним рядом, за дверью покоев, где ждут царственного утреннего выхода десятки министров, правый и левый шаньюи-канцлеры, государственный секретарь-управитель, знатнейшие вельможи, лучшие удалыцы-генералы и воеводы, покорившие полмира, послы многих и многих самых далеких держав! Там жизнь, но почему в нем, сотворившем ее императоре, она так стремительно, как загнанный зверь, сжалась, свернулась и... приготовилась?..

Он вяло пошевелился, не желая мириться с тем, что пришло, отстраненно подумал:

«Все же ОНА готова уйти... А мой сын крайне слаб».

Родился невольный протест, душа задыхалась предчувствием, способным приглушить противление мечущегося разума.

Конец?

Это конец?

Смерть возможно предчувствовать, император не сомневался, хотя никогда сильно не верил. Она должна создавать особенную тревогу остывающей плоти, по крайней мере, так утверждали лучшие философствующие умы прошлого. Способный сам недурственно философствовать и выстраивать как логически безупречные цепи рассуждений, так и надуманно ортодоксальные, вызывающие спор в среде умников, окружающих его непосредственно. Он мог подозрительно легко принять сторону очередного мистика и лишь немногие знали, что это привычный прием уклониться от спора, который его не увлек. Сейчас не было необходимости ни в споре, ни в поиске доказательств: ОНА вновь появилась в изголовье, и он ее снова почувствовал.

...Вначале ОНА возникала в его воображении неким эфирным дуновением, холодно касающимся груди, утомляющим затылок, спешащим пробраться по кровеносным сосудам в необычно волнующееся сердце, на что можно пока не обращать внимание... Потом – будет резкий толчок – он так представлял начало своего конца чуть ли не с детства, когда в первый раз больно упал с коня, испытал странное помутнение рассудка и невольный детский протест. Толкнется раз и другой, может, будет и третий – если его сильное сердце сдастся не сразу. Но дальше-то, дальше? Куда ОНО полетит, умерщвляя, превращая в прах и рассеивая его последние мысли и чувства, человеческую нежность, любовь, царственный гнев, могущественную власть твердого взгляда, движения руки, – то, чем он живет ежедневно?...

А с тем, остающемся после него, что станет?

Что станет с ним – было ложным посылом, самообманом, насильственным отторжением уже не рассудочной, а здоровой тревоги; самая изощренная философия в подобных случаях утрачивает способности оставаться помощницей и только пугает. Обходя минувшим вечером конюшню, император навестил гнедую жеребую кобылицу как всегда с признательностью, что сделала она когда-то, вынося из жестоких сражений и на которую не садился он уже года три, потрепав за гриву, подумал о жеребенке.

Жеребенок, новый царственный конь, на котором поскачет уже не он, дал ход первой грусти, невольно родившей образ того, кто поскакать на нем сможет. Мысль о сыне-наследнике стала навязчивой и рассердила. Она мстительно зло нашептывала, что сын его никуда не поскачет. По крайней мере, не в жаркую сечу; его увлечение в последнее время – «битвы» в гареме отца. И коней он, подобно ему, любить не будет...

В полумраке конюшни вдруг возникли старый родитель – азартный наездник, братья... Вернулся он хмурым, с досадой грузно и тяжело прошептал в спальню, не обращая внимания на заждавшееся застолье с удалцами, князьями и генералами, тяжело засыпая, тревожно проснулся, изо всех сил пытаясь не думать, что будет... потом.

Это было коварством – не думать о себе, – подобных насилий чувства не любят, препятствий не признают. Усмиряя растущий протест, наплывал сердитый шепот: «Какая разницы, что станет с бранным прахом, державой и сыном, и куда взлетит пыль твоего прошлого. Будущее – тьма, прошлое... тоже во тьме; не картина, на которую можно смотреть, удаляясь или приближаясь. – И тут же острая боль, похожая на мстительный взрыв: – Убивший братьев! Без трепета вспоминающий отца! Не познав смысла жизни и смерти за годы и годы, в гневе на сына, верного воеводу Чан-чжи, ты сможешь познать эту суть и увидеть конец своего бытия в одно утро? Все оборвется, скорее, на том далеком детском протесте, безвозвратно исчезнет в тумане».

Мысль, напряженная страхом, полная эгоизма, всегда изворотлива и будет вечно слепа, близоруко навязчива. А что может быть упрямей человеческого сознания – само сотворив эту мысль, само ее и лелеет.

Брякнул щит о копьё...

Или копьё о щит?

Как велик этот звук для тех, кто умеет создавать и владеть!

Как он чист и хорош!

Другие шумы доносились сквозь двери и плотные шторы: за ними была жизнь, а он, император и полководец, желая как никогда, переставал ее слышать.

Обдавая жаром, драконы над ним низко летали, синие, красные, желтые птицы парили над безумствующей головой, в саду за окном трепетала листва.

У великих и эгоизм величав. Император Тайцзун, в какой-то момент подумал расстроено: «Как не вовремя всякая смерть!» – И величественно успокоил себя: – «Она всем бывает не вовремя...»

И ему стало легче, он точно окончательно смирился с тем, что увидел. Уступил, долго сражаясь, не одну эту ночь. Тревога тяжелого пробуждения, показавшаяся далекой и непонятной, совсем не холодной, не судорожной на последнем дыхании, на самом деле стала понятна, и он дал ей свободу, подчинился могущественной силе, потому что, как опытный воин, умел предвидеть не только победы.

...Вообще-то первая мысль, когда он проснулся, была намного пространней и отстраненней. По крайней мере, не о собственной смерти, лишь о неизбежном далеком конце, и он ею просто увлекся. Во множестве многомудрых учений на этом свете о быте и нравственности, государстве и власти, высоком и низменном, бессмертном и обреченном с рождения, император Тайцзун более всех выделял сложное мышление и заповеди бессмертного Кон-фу, отдавал им достойную дань уважения. Только – дань, как признание ума философа и мыслителя, поскольку великий предшественник совести, зная потаенные язвы души, был так же не в силах справиться с ними. Он лишь восклицал, успокаивая и обнадеживая. «Впрочем, в этом великие умники схожи, – потекли новые пространные рассуждения императора, едва ли слышащего истоки. – Уверенные, что способный заблуждаться, способен и пробуждаться, увлеченные, они не понимают на свое счастье, что само СУЩЕСТВОВАНИЕ движется вперед и вперед совместно со смертью, и самые высокие заповеди просто узда. Одно дело слышать и сознавать, и другое – подчиняться. Ведь умирают не только травы, цветы, люди и звери, умирают миры, целые эры, звезды на Небе. И что во всем, что и кому должно подчиняться? Отчаяние и смятение слушают, затаенно внимают учатившемуся пульсу и ритму летящего времени до тех пор, пока существует сознание. Сознание – убежище мысли, мысль – червь сознания. Черный червь – живет в черном, белый довольствуется белым, серый невзрачный – в сером невзрачном».

«А в уединенном убежище, среди горных вершин, в нежном шепоте легкого ветра, дикая роза будет полной веселья», – не желая тяжелого грустного, вдруг рассмеялась в нем память старым стихом, и зашептала: «Кругом весна. Тысячи цветов расцвели в своей красоте. Для чего, для кого? Да, время в движении, и жизнь царей становится прахом. Первая человеческая мудрость в том, что ты сам позволяешь себе обманываться, чтобы не остерегаться обманщиков каждый день. И если живущий среди людей не хочет умереть от жажды, он должен научиться пить из всякой посуды. Хочешь быть чистым, оставаясь среди людей, умей мыться в грязной воде».

* * *

Лежал он долго, погруженный в себя, на удивление спокойный, просветленный не опытом долгой и страстной жизни, а смиряющим холодом будущего. Лежал, никого не тревожа пробуждением, потом, дернув за кисть шнура, вызвав дворцового воеводу Чин-дэ, неохотно произнес, едва разжимая бескровные губы:

– Приведи Лин Шу.

Как сам император, воевода Чин-дэ был в приличных годах, но мощь его развитого тела внушала почтение самым заносчивым молодым удальцам; их было ровно пятьсот в личной гвардии правителя, которая пополнялась лишь после смерти одного. Не поверив услышанному, Чин-дэ пошевелил тяжелыми плечами, словно стряхивая неприятности, и произнес:

– Повелитель нуждается в старом лекаре? Вчера ты был переполнен силами, нам готовы большую охоту, много забав и мужественных поединков! В лучшем виде предстанут твои удалы!.. Кстати, Великий, объяви, наконец, кого ты желаешь принять на три вакансии? Они существуют полгода, но ты никак не решишься.

Внушая подспудный страх воину-стражу, взгляд императора оставался отрешенным, чужим.

– Вчера... Что с тобой было, великий, я так и не понял!

Усердие грузному человеку всегда дается не просто, ставя в неловкое положение. Согнув массивную шею, не смея пошевелиться, воевода, с широко расставленными толстыми ногами, напоминал быка, готового взрыть перед императором землю и достать, уничтожить любого, кто накануне испортил ему настроение.

Император оставался нем и отчужден.

– Тайцзун, твоя грудь от тоски посинела! Прикажи привести самый благоухающий цветок мира, которым невозможно пресытиться! – собравшись с духом, не очень владея изяществом речи, воскликнул Чин-дэ. – Она всегда в ожидании встречи с тобой – нежная, как левкой, задыхающаяся страстью! Позову?

Император дышал мирской отстраненностью, личного стража и друга не слышал.

Не теряя надежды победить его хандру воевода воскликнул:

– Ты давно не беседовал с мудрыми! Ждет встречи с тобой старец с Ольхона, с которым ты в прошлый раз беседу не завершил, заявив, что продолжишь в другой раз. Ты не забыл? У нас появился новый проповедник не то из Мерва, не то из Герата. Великий, как же они глупы в бесконечном странствии по лабиринтам тайных убежищ ума! То ли дело – охота, кубок вина с друзьями, юная роза у царственных ног!

Тайцзун ему не внимал.

– Хорошо, я прикажу позвать старца Лин Шу, – тяжело переступив с ноги на ногу, с досадой сказал воевода и словно бы пригрозил: – Знай, твой выживший из ума Лин Шу любит копаться в потрохах умерших, а любимого ученика Сяо приучает вскрывать черепа. Монахи проявляют недовольство.

Зря он сказал о монахах, слишком много затронул в задумчивом императоре из того, что было в нем еще в полудреме, но уже просыпалось, готовое к буйству и возмущению.

– Обещая когда-то представить меня Властелину Миров, они много мудрствуют в отстранении, но Агарту мне не нашли. Беспокойство монахов наступит: однажды я сам от них отвернусь, – скрипуче, недовольно произнес император. – Завладевая душой, они подчиняют ее не Небу, заботясь лишь себе. Они всегда там, где наши евнухи.

– Я не совсем понял твою настолько глубокую мысль, великий правитель, – произнес воевода, обрадованный, что заставил сюзерена заговорить.

– Что проще, чем я сказал? – неохотно проворчал император. – Умея лихо рубить головы, умеи кое-что понимать...

– Ты сказал часть, о чем думаешь, и понятно себе, но не мне. Выскажись определеннее для моего грубого ума.

– Я им поверил, приблизил, отстранив других многомудрых. Суется на задворках моего правления, монахи, подобно евнухам, стали учиться управлять женщинами и только женщинами. Это их Шамбала?.. В этом большое коварство, Чин-дэ.

– Коварство женщины или монахов? По твоей царственной просьбе в поисках входа в Подземное Царство я обследовал вместе с монахами, вплоть до Байгала, сотни бездонных пещер, преодолевал недоступные перевалы Тибета и ничего не нашел, кроме женщин! – попробовал пошутить воевода.

– Евнухов и монахов, Чин-дэ. И женщины, женщины! – сказал рассеянно император.

– Тайные забавы в дворцовых покоях тебе кажутся опасными? – удивился воевода, сдерживаясь, чтобы искренне не расхохотаться, поскольку подобное во дворцах было всегда.

– Называя забавами дальний расчет, мой воевода становится беспечен и глуп, насколько может быть глуп и беспечен воин, знающий женскую ласку лишь как забаву, – неодобрительно произнес утомившийся повелитель. В глазах его тусклых не было ни живинки.

– Зачем, если я глуп, – обиделся воевода и круче согнул толстую шею, – говоришь со своим старым солдатом, на теле которого ран больше, чем поцелуев!

– И я был беспечен, я упустил власть над монахами, – наморщив плоский лоб, тихо, с досадой произнес император.

– Когда правитель, подобный тебе, начинает понимать, он способен исправить!

– Поздно, Чин-дэ. Я понял, может быть, главную ошибку, но у меня кончилось время. Его надо больше, чем на затяжную войну. Позови старого лекаря, позови!

Император не требовал, он просил, изумляя воеводу не царственным поведением.

ЗНАЮЩИЙ ТАИНСТВА СМЕРТИ

Мир кажется тривиально примитивным по своему содержанию вблизи и становится плохо понятным на пространственном удалении, но так ли он прост, замешанный на невидимых противоречиях, в самом обычном?.. Китайский император Тайцзун знал страх правителя, принимающего решения в последний момент, многое упустившего прежней неуверенностью и лишними сомнениями. Результаты редко бывали удачными, особенно в битвах, но есть ли, был ли правитель, опережающий силу и смысл, весь напор текущего времени?.. Тайцзун плохо понимал, куда увлекают его размышления, не хотел на них сосредотачиваться, прогонял, избавлялся, как мог, возвращаясь к наиболее близкому и тревожному – предстоящей беседе с лекарем, но они появлялись и требовали...

Они требовали осознания... будущего.

Они не истаяли в нем после случайной беседы с наследником...

После короткой беседы с наследником, у которого в пустых глазах мелкие мысли.

У наследника нет честолюбия, одна глупая страсть.

Его братья были такими же... глупыми.

Они вертелись вокруг трона отца, а он, презирая смерть и меньше всего рассуждая о легковесности славы, сражался вечно на дальних границах с врагами этого трона.

Разве он думал о троне, как думают опьяненные сумасброды? Пришло время, и он его взял.

Когда появился пожелтевший от старости неимоверно шаркающий сандалиями лекарь с реденькой длинной бородкой и закрывающими глаза седыми бровями, и, став на колени, припал к его императорской постели, Тайцзун вялым жестом приказал лишним уйти.

Продолжая прислушиваться к себе, не обращая внимания на безмолвного и бездыханного старика у ложа, он глухо сказал:

– Ночью я опять... покидал себя. Поднимись, не валяйся, Лин Шу... Туман до сих пор не рассеялся, я почти не владею телом.

– Расскажи подробней, – попросил сухонький благообразный врачеватель.

– Помнишь, в плавании на судах по заливу в Бохань нас многих укачивало?

– Помню, – ответил старик, сдавливая и враз отпуская, прощупывая быстрыми длинными пальцами руку императора, вздувшуюся венами.

– Подолгу и часто меня снова качает, – сказал Тайцзун.

– Днем или ночью? Во время сна или во время твоего распутного пьянства? Во время долгих игр с молоденькими наложницами, готовыми, как хищные птицы, клевать день и ночь твою грудь, или когда справляешь трудную нужду? – Лекарь явно был сильно рассержен и не считал нужным скрывать.

– Лин Шу, и большая нужда, и свеженькие наложницы – суть единого. Оно – телесная прихоть, я говорю о другом. Ты не слышишь меня? – Правитель недовольно нахмурился, засопел тяжело, потянул на себя шелковое одеяло.

Лекарь не дал ему спрятаться от настороженного взгляда, придавил одеяло рукой и крепче стиснул длинными сухонькими пальчиками императорское запястье.

Император был могуч телом, с короткой толстой шеей, вздувшейся венами, далеко не стар. Лицо его, с налетом тюркской смуглости, узкой белой бородой, лежащей пучком ковыля на груди, сохраняло властное выражение – подобно маске сурового величия, надежной однажды и навсегда. Но старец, за годы и годы, достаточно хорошо изучил норы его и повадки, чтобы не уловить в царственном голосе непривычные нотки раздумий и вовсе не царственный страх в затяжелевшем дыхании. Зная о жизни и смерти намного больше других, и не из философских трактатов, он понимал цену подобного страха.

Приподняв голову, стараясь не выдать волнение, не мигая заслезившимися от напряжения выпцветшими глазами, лекарь сказал, как посоветовал:

– Не загоняй себя в черный угол, мой великий правитель и государь, и прости, ты утомился множеством дел, снова лишился сна. Прекратить бы тебе лихие распутства.

– Лишился сна? – напрягаясь, воскликнул правитель. – Я боялся вообще не проснуться! – И заворчал: – Кажется, я болен серьезно, Лин Шу, зачем уводишь глаза?

Лекарь был в нерешительности, на его тонкокожем, без единой морщинки, желтом лбу выступили мелкие капли холодного пота.

Подумав немного, старик произнес:

– Я слаб в собственной голове, не то, что в твоей. Когда ты прежде жаловался на голову, мы находили возможность снять ее тяжесть, но когда это было в последний раз! Соберись и ответь, я снова спрошу. Чем император обеспокоился в самом начале: он проснулся с тяжестью или не мог уснуть от непосильной тяжести? Холод был в голове или жар? В тебе напряжение, вспучилась кровь, видишь? – Лекарь показал императору на его вздувшиеся вены.

– Не помню. – Голос правителя оставался слабым. – Как всегда, я подумал о вечном, и меня вдруг не стало. Нет, нет, вечером и ночью у меня никого не было! – Император словно оправдывался.

– Ты уснул – и тебя не стало?

– Нет, повторяю, не спал! Или не мог... вернуться. Сейчас я не сплю, Лин Шу?

– Не спишь, император. Вот! – Старец сильными пальцами ущипнул правителя за обнаженную ногу.

– Больно, глупец! – вскрикнул Тайцзун.

– Тем лучше, – произнес Лин Шу.

– Да, я есть, и меня... не бывает, я знаю. Сегодня я понял: могу не вернуться.

Тревога императора билась только в глазах, остальное владело собой, но глаза слышат глубже, глаза первыми выдают состояние души – старый лекарь, подернувшись сухоньким телом, проявил новое беспокойство.

Он спросил:

– В детстве, упав сильно с коня, ты долго не хотел садиться в седло – помнишь? Тебе сделали деревянную лошадь.

– Я помню бамбуковую лошадь, – император шумно втянул в себя воздух.

– Братья смеялись над лошадкой, особенно старший, Гянь-чэн, ты сердился. Однажды твой гнев достиг предела, убил в тебе страх.

– Хочешь вылечить мою душу моим собственным гневом? – Тайцзун усмехнулся, высвободив руку, ошупываемую лекарем, коснулся впалой груди старца. – А если меня утомила тяжесть самой власти? Такой бывает усталость?

– Преодолей вначале страх – ты испуган, – и кровь успокоится.

– Возможно, но я не мальчик. Мало я падал с коней, получая удары, от которых темнеет в глазах? Нет, не страх. Думай, Лин Шу. Многое постигнув, не мало умея, что мы знаем о собственной голове?

Оставаясь в раздумье, старик произнес:

– Повелитель страны вечности, есть подающий надежды юноша Сяо. Ты не мог не слышать о нем нечто странное, скоро я сам расскажу. Он составляет настойки по древним рецептам, утверждая, что память способна к очищению. Как тело, вместилище пищи...

Должно быть, он собирался сказать, что намерен пригласить к постели императора этого юношу, но Тайцзун перебил, недовольно воскликнув:

– От чего избавлять мою память, старик? Что в ней лишнее?

– Она просит о помощи, но где искать? – мягко сказал старец. – Давай вместе поищем. В прошлом и настоящем, в свершенном тобой, но не так, и не свершенном пока.

– Я никогда не думаю – как, я думаю – когда, и потом совершаю!

Император сердился.

– Не спеши, не всегда понимая, мой господин! – Лекарь понизил голос. – Не лучше ли снова немного забыться. Забыться и вспомнить, вспомнить и рассказать.

Колыхнув шторы, ветер донес из сада веселые голоса. Узнавая один, император подавленно произнес:

– В саду наследник нами с тобой содеянного, Лин Шу...

– Ты! Ты с ним встречался вчера, великий? Ты встречался?

– Наследникам трудно, приходится ждать, а мне повезло, я не был наследником.

– Ты мешаешь, рука моя слушает, успокойся, освободись от сомнений. Забудь, что ты есть.

Лекарь был упорен, терпелив, власть его над правителем обретала новые очертания – Тайцзун погружался в раздумье.

– Ищи, – говорил ему старец полушепотом, похожим на заклинание, – ищи нечто. Оно близко. Сильнее тебя. И может быть далеко. Как подземные царства... бездонное Небо... Дальше настолько, что трудно подумать... А если думаешь и не знаешь? Наш сон – другая тайная жизнь. Мы не ходим, не едим, не пьем, – куда-то улетаем. Только сон приносит глубокий покой нашему телу. Он лучший лекарь, его ничто не заменит. Куда улетаешь среди ночи ты, мой господин? Куда улетаёт мальчик на бамбуковом коне, юноша, соблазняющий девушку, генерал Ли Ши-минь, побеждающий врагов? Кат Иль-хана – помнишь его? Где твое сердце, где долг?

– Прошлое не умирает, Лин Шу, и вовсе не царство вечного – зачем туда возвращаться? Хочешь меня усыпить?

– Ты давно спишь, господин, тебе хорошо. Кто испугался прошлого, генерал Ли Ши-минь или великий Тайцзун? – невозмутимо, упрямо наседали желтолобый старец.

– Старик, что надо знать, ты узнал, утоми любопытство.

– Генерал, убивающий собственных братьев, или император, жаждущий новых наложниц? – не уступал ему лекарь. – Не сопротивляйся! Ты спишь! Крепко спишь! К тебе приближается... Отвечай, властелин Поднебесной, как ответил бы только родителю: что видишь? Кто рядом?

– Братья приходят. Простив, я иногда с ними играю, но стрела в груди Гянь-ченя... Отец должен быть строгим – у меня был слабый отец, и нет наследника... – Император неожиданно замолчал, глаза его оставались закрытыми

– Что? Что – наследник?

– Нет, ничего, я должен еще говорить, – подозрительно ровно произнес повелитель.

– Ты начал издали и ничего не находишь. Что же тогда? Ухвати свою боль! Где она? В ком ее видишь? – требовал властно лекарь, положив руку на лоб императора.

Люди хотят знать судьбу, но им не дано.

Люди слушают лекарей, а слышат себя.

* * *

Широкий лоб императора, к удивлению старого врачевателя, не был горячим, он оставался холодным. Не снимая руки, лекарь молчал.

И Тайцзун замолчал, но странная борьба меж ними не прерывалась.

Побежден сейчас будет тот, кто заговорит первым – они оба знали об этом. Правда, один из них жил наяву, в полном осознании поступков и действий, другой – в безотчетности чувств, как в тумане, и противостоянием оба были сильны.

Борьба в душе императора шла нешуточная, тень сомнения бродила по лицу властелина Китая – огромной державы, возрожденной им к новому могуществу и процветанию. Он должен был уступить лекарю, отринув обычный человеческий страх, открыть уставшую душу, не должен бояться своих откровений, и не хотел.

Врачеватель грел его лоб ладонью, императору было приятно, правитель слабел, размягчался, дважды разжимал пересохшие губы, пытаясь заговорить, и сжимал.

Они у Тайцзуна были тонкие и чувственно-нервные. По их движению, как сжимаются и разжимаются, лекарь без труда угадывал его настроение. Особенно по утрам.

Старик любил императора. Все любили Тайцзуна, воины восторгались, пятьсот удалцов могли в любое мгновение умереть по легкому жесту руки владыки, но старик любил его по-особенному. Нет, не как сына и не как божество. Лекарь ходил с ним во все походы, врачевал его большие и малые раны, не однажды спасал от губительных и кровавых расстройств живота, в совершенстве знал выносливую царственную плоть и глубину просвещенного разума, стоял у начала этой величественной жизни и слышал... конец.

Он его слышал – конец императора приближался стремительно, и если сейчас ничего не предпринять, повелитель уйдет в потустороннюю вечность, обрекая и лекаря. Что тогда сам он, усохший старик, и ему уходить.

Не всегда умея помочь, неумолимую смерть лекарь предвидел задолго – она сильно меняет людей, о чем никто не догадывается, кроме его и к чему он готов. Предстоят бессонные ночи, в течение которых, измучив себя беспомощностью больше, чем за долгие годы преданной службы, он будет умирать вместе с владыкой, и умрет.

Иначе не будет, он уйдет следом...

Полный сострадания совсем не к себе, обостренно внимая каждому жесту и слову, лекарь жил последними днями императора. Отринув его величие, он любил страдающего ребенка – страданий в детстве мальчику Линь Шу досталось не мало.

Тайцзун должен вернуться в далекое прошлое, покориться воле врачевателя и пожаловаться на недомогание. Другим не помочь, если он сам себе не поможет.

С жалобой ребенка, однажды пересилившего недуг, беда может уйти – Линь Шу в это верил свято, – но императоры не умеют, стыдятся жаловаться.

– Мой старший сын... будет слабым наследником, – мучаясь, сопротивляясь себе, произнес Тайцзун.

– Он законный наследник, – укорил его лекарь, уверенный, что сочувствие не уместно.

– Увидев мою последнюю наложницу, он потерял рассудок и стал посмешищем. Удалцы презирают его.

Тонкие губы императора плотно сжались. До синевы.

– Отруби наложнице голову, – безжалостно подсказал врачеватель. – Одной станет меньше – и только.

– Она почти девочка, – как бы осуждая жестокость лекаря, рассеянно возразил император, но губы, плотно сжавшиеся тонкие губы его посинели сильнее.

– Император! О чем ты, великий из великих, когда речь о сыне, возжелавшем твоей наложницы! – с неприкрытым испугом воскликнул худенький старичок, сидящий на краю постели больного. – Маленький мозг в маленьком черепе всегда изощрен, тебе ли не знать – женщина изначально коварна телом?!

– Она опасна, знаю. Она ласковая, подобно теплому котенку, припавшему к старому сердцу, у нее жадные глаза и руки, – произнес император, светлея лицом.

– Что – руки? – напрягаясь, спросил врачеватель.

– Они подобны когтям опасного зверя, с ней приятны мужские забавы.

– Ненасытный. Давно убеждаю – тебе опасны подобные страсти, утихомирься.

Осуждение лекаря пришлось императору по душе, он расслабился, ожили глаза, шевельнулись порозовевшие губы.

– Мне приятно и она это знает, – устало, закрывая глаза, сказал император. – Больше никто...

– Поняв... она тебя истязает? – спросил врачеватель, чуть не закричав о том, чтобы Тайцзун не смел закрывать глаза, потому что в темноте своей головы ему оставаться опасней.

– Меня? Разве я глуп или слеп и не вижу, кого она истязает? Я думаю и... не могу, Лин Шу. Не могу, – ответил император точно из другой, неведомой жизни.

– Не можешь убить, но хочешь?

– Не могу, – согласился Тайцзун, и губы его вновь посинели.

– Сошли в монастырь, – преследуя цель – не оставлять больного в покое, поспешно посоветовал врачеватель.

– Я думал о монахах... Как мужчине, соблазна женщине не укоротишь, не отрежешь лишнюю часть, он в ней подобен зуду.

Он уходил! Император на глазах уходил. Врачеватель тоненько закричал, как взмолился:

– Отправь! Отправь далеко. В Тибет! В Непал! Сошли под строгий надзор, повелитель!

– Когда я умру, она захочет вернуться, зная, зачем. Разве я не умру однажды, а мой слабый сын не станет ее искать?

«Его добивает досада на сына. Ах, эти своенравные детки!» – подумал старик и предложил:

– Прикажи, усыпим. Надолго. Проснется – опять. Средства есть, мой повелитель.

– Не надо. Разве ее вина в том, что рождена красивой и обворожительной, и разве мужская страсть уже умерла? Что станет с мужчинами, лишенными вожделений? Я умертвил многих достойных мужей, гнев мой знаком и прекрасным женщинам, но разве не я обрек ее на страдания? Приставь к ней пока... – Император напрягся так, что на шее снова вздулись толстые вены. Его широко раскрывшиеся глаза уставились на лекаря.

– Кого к ней приставить? Воеводу Чан-чжи?

– Не знаю. На Чан-чжи мне доносят...

– О-оо, насколько ты болен, став доверять доносам! То сын у тебя в голове, то удалец-воевода. Так не долго сойти с ума, мой господин.

– Замолчи! – император задохнулся в невольном гневе и произнес, как отрубил: – Приставить молодого монаха, который учит ее риторикам.

– Молодой монах – не преданный удалец Чан-чжи, не евнух, мой повелитель! – в сомнениях произнес мудрый старик, не понимая скрытую мысль императора, и радуясь, что гнев вырвал императора из небытия..

– Монаха! – властно повторил Тайцзун, принимая окончательное решение. – В нем заметна слащавость, он падок на женскую плоть!

Лекарь, кажется, понял его, тихо, в испуге спросил:

– И позволить...

– Да! В ночь, как... уйду. Убей в ней коварную силу и страсть, потом в монастырь.

– А молодого монаха?

– Скорми моему льву! Он давно не пробовал человечины.

– Великий, отдай поручение другому, – спохватился вдруг лекарь, – я не смогу.

– Сможешь и завершишь.

– Мой повелитель, слуга не должен...

– Ты исполнишь, Лин Шу.

– Когда ты начал думать о смерти?

– Почувствовав, что могу не вернуться.

– Голове было холодно?

– Нет, ее обнял жар. Холодно было сердцу, оно замирало.

– Великий! Правитель! Так бывает всегда, когда жар! – шумно вздохнул не на шутку озабоченный старик. – Я думал, тебе холодно! Голова – лишь вместилище наших мыслей. Что некогда в нее положишь, то через время возьмешь. Череп и полая кость – вместилище! И твое тело! Как сундук, в котором старятся лишние вещи. Всюду что-то лежит! Почему ты ищешь в одной голове? Ты просто боишься смерти и случайно подумал...

– Я не боюсь смерти, страшно потерять рассудок. Может пролиться много невинной крови.

Властная рука лекаря продолжала греть лоб императору, но воля Тайцзуна снова крепла, надолго или нет, но жизнь к нему возвращалась, оживали глаза.

– Мне снова не все понятно. – Старик поспешно сдернул руку.

– Хватит, дай побыть одному. Потом буду говорить с наследником.

– Что хочешь, чтобы я предпринял... кроме монаха? Самую жадную женскую плоть можно заставить стать немошной, государь! Прикажи, я найду, как сделать!

– Я нашел.

– Я сомневаюсь.

– Уходи, сняв одну боль, ты вселяешь в меня сразу много других – так вот лечишь. Уходи, Лин Шу... Нет, нет! – Вскинувшись, император был похож на безумного. – Оставайся при мне неотлучно. Слушай, когда я сплю, спрашивай, пробуждай. Никому! Никому! Я начинаю бояться себя.

– Кто будет рядом со мной?

– Только Чин-дэ.

– А Чан-чжи? Ты проявляешь несправедливость.

– Чан-чжи... Может быть, я в нем ошибся.

– О-оо, какой ты разгневан сегодня на лучшего удалыца! Кто из других у тебя на подозрении?

– У меня много верных друзей, но первый – Чин-дэ.

– Чин-дэ служит в покоях. За пределами ты поставил дивизию Чан-чжи. Не лучше ли...

– Не лучше! – оборвал его император.

– Подумав о верном Чин-дэ, ты подумал о смерти братьев?

– Дай заснуть. Ты меня утомил, я хочу спать.

– Он устал думать! Ему надоело думать! – посветлев лицом, примирительно и удовлетворенно заворчал Лин Шу.

– Я устал тебя слушать, – рассердился Тайцзун.

«Сердись, это на пользу», – подумал с облегчением Лин Шу, а вслух произнес:

– Чтобы досыта напиться, необязательно пить долго и выпить много! Ты сам позвал, и сам прогоняешь.

В глазах старика появились слезы.

Ветер снова ворвался, взметнув оконные занавеси.

Ударил в шелка балдахина, зашелестел.

Разметав поющих птиц, изрыгающих гнев и злобу драконов, упал на лицо великого императора Тайцзуна.

Вскинув голову, Тайцзун хватал, хапал его порозовевшими губами. Его жизнь еще продолжалась...

ТЯЖЕСТЬ СОМНЕНИЙ

С того странного утра начальник личной гвардии правителя генерал-воевода Чин-дэ, лекарь Лин Шу и его ученик Сяо к Тайцзуну никого, кроме наследника, не допускали. Все покои были заняты воинами специального корпуса телохранителей, отвечавшего за безопасность многочисленного семейства правящей династии Ли, которым командовал воевода Чан-чжи. Дворцовая жизнь затаилась.

Прошло несколько дней.

...Выпив предложенные лекарем настойки, император попробовал пошевелить ногами и произнес:

– Они совсем перестают слушаться, Лин Шу.

– Прикажешь позвать других лекарей? – Лин Шу виновато упал на колени.

– Я сказал о ногах, Лин Шу!

– Повелитель Тайцзун, прикажи умереть за тебя прямо сейчас! – воскликнул старец.

– Встань, больше не падай, – сказал император.

– Почему не позвать, великий император? Во дворце тьма всяких магов и предсказателей, – раздраженно проворчал Чин-дэ, давно недовольный беспомощностью лекаря, и враждебно воспринимающий старого врачевателя.

– Этих не надо, Чин-дэ! Только не этих! – испугался лекарь.

– Есть знающий черный факир, заклинатели змей, непальские знахари, лечащие душу. А сонм предсказателей, повелитель! Почему не выслушать их толкования! – настаивал сердито нахмурившийся воевода, не в силах мириться с не царственной покорностью повелителя перед стариком, похожим на ходячую мумию.

– С душой у меня в порядке, – добродушно сказал император, усиливая досаду воеводы. – В ней много черного, но болит не душа.

Лицо императора было усталым; чтобы не наговорить от беспомощности лишнего, воевода насуплено отвернулся.

– Один древний лекарь считал, что голова есть сосуд, где должна остывать кровь человека, забирающая жар души, а когда болит голова, беспокоит душу и сердце, – задумчиво произнес Лин Шу, поглаживая руку императора. – Тебе следует больше спать, повелитель, и реже возвращаться в прошлое. О чем ты опять задумался?

– Старость всегда становится задумчивой и никуда не спешит; ее час предрешен... Помнишь, Чин-дэ, как мы когда-то вошли в эти покои? – Император вдруг резко повернулся в сторону воеводы. – Увидев нас вместе, отец удивился, его лицо, заросшее черными волосами... Оно стало испуганным, Чин-Дэ, не забыл? – Плечи отвернувшегося воеводы предательски вздрагивали, и Тайцзун произнес: – Чин-дэ, сделав немало, мы прожили славную жизнь. Сожалею, что отец никогда не узнает... как я его боготворил.

– Он был уверен, что тебя уже нет, должно быть, успел оплакать, но ты появился, – сохраняя ворчливость, примирительно произнес генерал-воевода.

– Он любил меня, я знаю. Во мне нет зла на него, решая судьбы державы, правитель всегда перед выбором. Я сказал: твой старший сын, отец, уже мертв, я его застрелил. Нет и младшего, его застрелил воевода Чин-дэ. Остался средний, он здесь, поступай, как знаешь, – и я встал на колени. Помнишь, что было потом, Чин-дэ?

– Твой отец заплакал. Он сказал, что умел храбро сражаться и не умел управлять. – Утерев украдкой глаза, воевода обернулся и виновато потупился.

– Война – самое простое дело, он был прав. Всю жизнь мы видим себя только наоборот, потому что видим обратное отражение. Как нам увидеть себя не в зеркале? Я бы хотел увидеть себя не в зеркале, Чин-дэ.

– Ищет, кто потерял. Что потерял правитель Китая? – Воевода натянуто усмехнулся.

– самого себя, которого я не знаю, – ответил император.

– Сказано сильно, Тайцзун: самого себя! – воскликнул Чин-дэ. – Ты не можешь стать истинно мудрым, если не покажешься безумным в глазах мира, утверждая, что мир и есть главное безумие. Мудрый не должен признавать за реальность обыденную повседневность, наполненную склоками. Разве не так и не ты это говорил?

Император внимательно посмотрел на воеводу и отстраненно сказал:

– Не имеющий горсти риса бедняк стучит в разные двери: он ищет. Когда ему однажды откроют и подадут, он перестанет стучать.

– Хочешь найти лишь горсть риса? – с удивлением, не понимая правителя, произнес Чин-дэ. – Лекарь сказал: останови поиски неведомого – в этом ошибка, и я на его стороне.

– В бедности – ищут, в богатстве – пренебрегают. А если стучу, где никого нет, кто мне откроет? – продолжил странную речь император.

– Тогда не спеши стучать и подумай, – заговорил старый врачеватель, поймав на себе умоляющий взгляд воеводы, просящий о поддержке. – Философы утверждают, что ищут, стало быть, не нашли. Все не могут найти, что ищут.

– Я создал и продолжаю, я – правитель, не философ. Но смерть приходит даже во время ублажения плоти. Видя, что смерть неизбежна, что страдания умирающего определяются его виной, вдруг понимаешь, что ради земных наслаждений не должно совершать зла. Я часто наслаждался властью и некогда говорил, что разные предметы служат нам забавою. Земляной городок и бамбуковый конек суть баловства мальчиков. Украшаться золотом, шелком – забава женщин. Посредством торговли взаимно меняться избытками – увлечение купцов. Высокие чины, хорошее жалование есть забава чиновников, а в сражениях побивать соперника – страсть полководцев. Только тишина, единство в мире – забава государей. Я был мальчиком и был полководцем, я устал, и ОНА пришла, – произнес он холодно, сурово, спокойно.

– Кто пришел, мудрый правитель солнечного Китая? Нежная, как утренняя роса, новая наложница? – пытался грубовато пошутить воевода.

Император беззвучно засмеялся, шевельнув сухими, как пергамент, обескровленными губами, и, не приняв натянутой игривости воеводы, серьезно сказал:

– Та, которая наделена правом выбирать и забирать по-своему разумению, всевластна и над царями! Ее не победить ни армиям, ни мудрецам, ни времени.

Подобные рассуждения императора не были внове; приближенные хорошо знали его склонность пофилософствовать, вызвать на спор знатного гостя или посла и добиться эффектной победы или с достоинством уступить убедительным доказательствам неверности своих суждений. Умея выигрывать, он умел проигрывать. Его мысль всегда казалась свежей, не пряталась за устоявшимися догмами. Но сейчас он говорил слишком тихо и мрачно, без огня и азарта. Он оставался вялым, раздражал отрешенностью, и грубоватый воевода произнес, пытаясь подбодрить его:

– Один мыслитель утверждал: излишние знания только мешают, и надо искать истину в битве с врагами. Не лучше ли в новый великий поход!

Более тридцати лет провел воевода Чин-дэ бок обок с императором. Знал его молодым, начинающим полководцем, только пытавшимся противостоять на северных окраинах слабой, почти рухнувшей державы грабежам, разбою, бесчинствам, мощнейшим натискам степной орды тюрка Кат-хана, не пропустив ни одного сражения во имя Китая, гордился, что был всегда рядом. Он боялся его справедливого гнева и был предан ему бесконечно. Что случилось? Почему рано угасает великий военачальник и великий государь, собравший, в конце концов, Поднебесную в нечто единое, усмиривший Степь и других беспокойных

соседей, сделавший себя и кто с ним достойными бессмертия? Почему он уже не вселяет страх силой своей божественной власти и глубокого ума? Откуда слабость и обреченность?

Смущаясь тяжести собственных мыслей и чувств, затуманивших взор, воевода потушился.

Казалось, император что-то почувствовал, его взгляд словно прожег воеводу... Или только показалось? Преодолевая растерянность и набравшись мужества, воевода оторвал глаза от пола.

– Чтобы достичь истины, необходимо преодолеть двойственность «Нет» и «Да», – привычно строго изрек император. – Живой мир обманчив и подвержен постоянному разрушению, а я... Чем занят наследник? – спросил он достаточно резко, как спрашивают, когда говорят об одном, думая о другом. – Вчера мы говорили о слабых местах в государственном управлении. Я прошу расширять устройство моих школ для инородцев. Поощряемая монахами, наша молодая знать стала презирать их. Странно видеть подобное высокомерие! Нужно помнить истины, помогающие народам, которые мы соединили в империю, жить в терпимости и согласии. Высокомерие одного народа в отношениях с другими приводит к великим бедствиям. Нам пришлось однажды умирять высокомерие диких племен и такого быть не должно. Я прошу сделать постоянными испытания на должности. Несправедливо ущемив толкового инородца, мы получим врага. Я прошу... Позови принца, Чин-дэ, – произнес император, выдержав паузу, – и останься со мной.

– Пошлем лучше Чан-чжи, государь. В покоях наследника и среди твоих наложниц меня недолюбливают, – проворчал Чин-дэ.

Невольная неприязнь мелькнула на лице императора.

Воевода ее не заметил. Приподнявшись и распахнув одну из дверей, он, утишая рычащие сиплого голоса, произнес:

– Воевода Чан-чжи, к императору наследника-принца!

«Воевода Чан-чжи... Воевода Чан-чжи... К императору наследника-принца!» – покатилося шепотом по переходам.

Не шелхнувшись, с бледными лицами, стояли воины-стражи, из укромных убежищ-ниш выглядывали широколицые настороженные монахи, шелестели платья рабынь и наложниц.

Страстно молилась в укромной каменной нише с факелом, устремив глаза в Небо, одна из юных обительниц женской части дворца.

* * *

Дни текли медленно и напряженно.

В покои один за другим вошли с десятков монахов, по властному жесту воеводы Чин-дэ рассаживались на отдалении от ложа императора и друг друга. Воевода ввел древнего старца, худобой, мелким ростом похожего на лекаря Лин Шу. Но седая борода его была пышней и длинней, белые брови намного шире, усы толще. И был он с крупной проплешиной, пугающе белокож. Монахи шумно и возмущенно заговорили.

– Так ты продолжаешь твердить, Ольхонский шаман, что нет ни Шамбалы, ни Агарты? – перебил возникшее возмущение император, приподнявшись в нескрываемом любопытстве на локте.

– Нет подземных миров дьявола, повелитель Китаев, есть владения богов, летающих на колесницах, – негромко и твердо произнес шаман.

– Что же тогда Вечная жизнь, которую шаманы не отрицают? Или я в заблуждении? – Император хмурился, словно бы зная ответ, и не желал его подтверждения.

Шаман ответил с прежней твердостью:

– Свет и сияние! Мир ангелов и Вечная жизнь только на Небе. Они для души, но не для грубого тела.

– Мракобесие! Мракобесие! – опасаясь громко кричать, возмущались монахи.

– Как же устроен невидимый мир, куда уходят умершие? Кем я буду – разве мне уходить не в неизвестность?

– Невесомостью. Легкостью духа. Плоть и мирские желания перестанут давить на твой земной разум. Исчезнет потребность.

– Как эфир, лишь колыхание, я перестану быть всемогущим во власти?

– На Небе ты ощутишь власть, которой всегда поклонялся при жизни. Ты не верил в богов? На Небе власть императоров и царей не нужна, там правят боги.

– Что скажут монахи? Нужна мне на Небе власть императора?

Монахи в смущении молчали. Утверждая власть Неба, как высшую субстанцию, которой все должны быть покорны, они опасались сказать прямо, подобно шаману с берегов далекого Байгала, где со времен хуннских народов поклоняются чуждому каменному кресту, что необходимое человеку при жизни, после смерти бессмысленно, ни нужды, ни потребности. Да и не важно, для чего душе, покинувшей износившуюся телесную оболочку и воспарившейся в невесомое пространство миров, нечто материальное? Как императору, пока он живой, скажешь такое?

Старец-шаман, полгода назад доставленный воеводой Чин-дэ по приказу императора из-за Саян, грустно изрек:

– Они боятся тебя огорчить, потому что всегда и всего боятся. Они живут земными потребностями, пугаются дьявола и Шамбалы, восхваляя лишь Небо и твою силу, великий император, у них тяжелая жизнь на земле.

– Тогда зачем нашим монахам потусторонняя жизнь, могущественные и невидимые Шамбала и Агарта?

– Иногда для устрашения непокорных и поощрения слабовольных владык земной суеты: облизывающие троны владык нуждаются в более сильных устрашениях в виде подземных вместилищ с разожженными огнищами и кипящей смолой. Такой повелитель, как ты, не может не согласиться, что черной злой смолы в наших душах достаточно при жизни.

Шаман был умен, говорил без всякого страха, но изрекать подобное при монахах... На Байгале и странном острове белолицего старца Тайцзуну побывать не пришлось. Поднялся на один из Саянских перевалов и вернулся. Не дошел до странной воды, над которой Небо зимою сияет павлиньими перьями.

– Довольно, покиньте меня, – грустно проворчал император и уперся холодным взглядом в старца-шамана. – Бог креста и ваш огонь, это что?

– Возносящая сила нашего духа, правитель, но ты не поймешь в короткой беседе.

– Останешься со мной?

– Ты умираешь.

– Седобородый старец настолько уверен, что дни мои сочтены? – Император неприятно усмехнулся.

– Не вводи себя в заблуждение, повелитель Китая, ты давно это знаешь и готовишься к встрече с неведомым.

– Но... остался бы?

– Нет, великий правитель Тайцзун, я тебе говорил в первой нашей беседе. Начав служить твоей империи, моя вера и я станем другими.

– Император и вера, шаманы и монахи, подземный мир, которого никто ни разу не видел, и Божественное Просветление... Сожалею, мы мало с тобой говорили, но ваша вера и моя власть могут многое.

– Император, подобное несовместимо! Императорам служат отвага и доблесть. Вера, совесть и честь не могут ни быть на цепи, ни кому-то служить.

– Твоя логическая цепь понятна, имеет право на существование, я бы поспорил.

– Повелитель миров и многих народов, я всегда готов к разумному спору без гнева, но у правителей редко получается...

– Знаю, гнев – проявление бездоказательности. Слышал, как осуждали тебя монахи, не смея говорить, что сказал ты.

– Когда верующие становятся кастой, доказательства и борьба за истину уже никому не нужны, что глупцу никогда не внушить. Не владея знаниями, способностью рассуждать, он владеет иногда властью и силой.

– Да, да, власть и сила губят или созидают. Я мечтал созидать. – Задумавшись, император замолчал и не скоро спросил: – У тебя есть ко мне просьба?

– Пока ты... Позволь мне вернуться обратно. Потом... Потом не уйти.

Император долго лежал в одиночестве, обступившем странной бесконечностью миров, и уже никуда не хотел.

Вошел воевода-кореец Чан-чжи.

Неуклюже склонившись в приветствии, басисто сказал:

– Мой император, в зале собралось несколько генералов, желающих встречи с тобой. Разреши войти, многие прибыли издалека и любимы тобой.

– Воевода Чан-чжи всегда за кого-то просит. Кто в таком ожидании, что ты пожалел? – досадливо спросил Тайцзун, жестким прямым взглядом смутив генерала.

– Первыми с утра прибыли командующий джунгарскими всадниками тюркешский князь Ашина Мише и князь Ашина Сымо, которому ты в походе на Бохань высасывал кровь после укуса змеи. Он все утро об этом рассказывает. – Чувствуя холодную неприязнь императора, Чан-чжи говорил сухо.

– Сымо! Этот Сымо! – проворчал император, не спуская глаз с генерала. – Он толще тебя, пожалуй, Чан-чжи. Смелый, как дьявол, а змеи напугался. Ты боишься змей, Чан-чжи? – Император вдруг усмехнулся и произнес: – Зови... генералов, ты ничего не боишься, даже змей моего дома наложниц. Заставим Сымо и Мише схватиться на поясах? Кто победит, на кого ты поставишь?

– Сымо тяжелей, но Мише моложе, – без воодушевления ответил Чан-чжи.

– Ты за Мише? Тогда я за Сымо! Я на Сымо поставлю. – Император был весел.

– Старые они, великий правитель! – сказал воевода. – Будут топтаться да воздух портить, какие из них борцы?

Тайцзун встал на ноги, покачался, поправил длиннополый халат, отороченный мехом куницы, засмеялся:

– Зря не сказал раньше о генералах! Эй, у нас есть мужское вино, способное затуманить разум сильнее красивой рабыни! Подайте вина!

– Названы не все, император, – воевода Чан-чжи замялся. – Недавно прискакали другие генералы.

– Кто, кто? – глаза Тайцзуна ожили, засверкали, он подошел быстрой походкой к воеводе, положил руки на его крепкие могучие плечи, заставив Чан-чжи заметно смутиться. – Ну, говори!

– Ты сердит, император? Но я ни в чем не повинен, и знай, я скорее умру...

– Кто в приемной, говори?

– Мой господин, ты сердит, мне неприятно!

– Кто за дверью покоев?

– Победители маньчжурцев-киданей генерал Ли Цзи и полководец Ляну.

– Ляну-удалец! Не встречались давно! – оживился Тайцзун. – Северная армия генерала Ляну в Поднебесной империи лучшая!

– Ты сам ее создавал, император, ходил с ней в походы. Ее называют: «Армия отцов и детей»! – подсказал воевода.

– Хорошо говорят, я слышал. Так должно быть – отцы и дети! А Шэни-генерал тоже примчался? – шумливо спросил Тайцзун.

– Тюркют заиртышской степи Ашина Шэни в походе, ты забыл, император? – удивился Чан-чжи.

– Он успешно его завершил! – произнес император. – Я читал его донесение о победе над карашарским владетелем-лунем. О засаде в десять тысяч всадников под Кучей, которую он взял. За полгода ему подчинилось почти семьдесят разных городов края. К прежнему повиновению приведен весь Хотон. Пришли хорошие вести, испугавшись прихода Шэни-тюрка, образумилась Бухара. Я приказал Шэни передать управление армией и возвращаться.

– Ашины Шэни пока нет, император, – произнес воевода Чан-чжи.

– Жаль, люблю Шэни. Как он сражался против меня рядом с каганом орды Кат Ильханом! Вот кто умеет сражаться, достоин высокой чести! Вернется, никуда не пушу, оставлю при военном совете... Этот Шэни...

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗВОН КУБКОВ

Ровно через неделю с первого тревожного утра, в ночь на 16 июля 649 года великого собирателя земель императора Тайцзуна не стало. Неожиданно он отвел странно изменившийся взгляд от старшего сына, с которым вел длительную беседу, обратил его на лекаря, воеводу Чин-дэ, присутствующих друзей-генералов, которые старались казаться веселыми, покачал головой, наткнувшись на потерянный взгляд на командующего дворцовой гвардией генерала Чан-чжи, и громко сказал:

– Чин-дэ, наполни мой кубок, он опустел... Музыку! Музыку! Почему перестали играть?

Воевода, кинул взгляд на лекаря и, не получив запрета, наполнил императорский походный кубок, известный не только китайским военачальникам, но и вождю непокорной когда-то степной орды Кат Иль-хану, с которым он пил из этого кубка на мосту через Вэй под Чаньянью за вечную дружбу. Подал вино умирающему.

– Служите моему сыну, как служили мне. У его деда тронным было имя Гао-цзу. Его внуку дадим – Гао-цзун. – Император опрокинул в себя разом содержимое кубка.

Воспользовавшись шумными восхвалениями в свой адрес, Тайцзун знаком попросил сына склониться, дождавшись, тихо сказал:

– Остаешься править и должен. Здесь почти все, кто поможет. Прошу, будь осторожен с монахами... и рабынями. Красивые из них нравятся не только правителям, но некоторым нашим верным воеводам... Не могу избавиться... Умирать с подозрением тяжело.

Уходящий правитель всегда наставляет кого-то и зря наставляет: наследник был хмур, настороженно замкнут.

– Чан-чжи! – Глаза императора, устремившись в последнем порыве на воеводу-корейца, раскрылись неожиданно шире – и вдруг погасли. Что-то не досказав лучшему генералу-удальцу, ушел навсегда создатель новой, по-настоящему сильной азиатской империи.

Часом позднее молодой ловкий монах по имени Сянь Мынь – учитель изящных искусств и риторик императорских наложниц, – мчался в легком возке по крутым горным дорогам, опасаясь преследования. В углу возка, в страхе прячась под грубое верблюжье одеяло, тихо сидела самая юная наложница Великого Соединителя Земель...

Вскоре прибывший генерал Ашина Шэни, казалось, вдруг потерявший рассудок, не стыдясь, заливался слезами и требовал похоронить его вместе с императором. Генерала уговаривали, пытались напоить крепким вином, чтобы в отчаянии не покончил с собой. Ничего не получалось, чем больше генерал-тюрк пьянел, тем безутешней рыдал. Тогда обратились к старому лекарю. Лин Шу что-то приказал ученику Сяо, юноша сделал питье, и генерал наконец-то надолго забылся.

...Минуло тридцать лет. Летом 679 года в Шаньюй, заселенный когда-то Китайским императором Тайцзуном наряду с Ордосом, Алашанью, другими окраинными землями у Великой Стены покорившимися тюрками, прибыла высокая миссия императора Гаоцзуна. Вердикт был суров: тюркский старейшина-князь Ашидэ отстранялся от управления наместничеством, и ему предписывалось вернуться в Ордос, где у князя имелось собственное владение, дарованное когда-то Тайцзуном.

Выслушав решение, прозвучавшее как приговор, князь усмехнулся:

– Я был последним тюрком на Желтой реке, управлявшим собственным народом. Подчиняясь воле императора Гаоцзуна, сегодня покину Шаньюй.

Голос князя был строг и сдержан.

На выходе из просторной залы старейшина-князь обернулся.

– Позволю спросить, – обратился он к руководителю миссии, главе императорской Палаты чинов, – есть ли указ о моем преемнике?

– Есть указ, есть новый наместник, – ответили князю.

– Тот, кто сменит меня, конечно, не тюрк?

– Князь, ты давно не в Степи, ты в Китае, – последовал новый пренебрежительный ответ, быть может, положивший начало тому, что вскоре случилось.

– Жалею, что пережив славные времена народоправства, я не в Степи и стар, вернуться! – не сдержав обиды, воскликнул будто бы вмиг состарившийся князь, и дальше на выход шел сгорбившимся.

Странной бывает судьба нечаянно искренней мысли, но именно эта, слетевшая с уст тюркского князя-ашины: «Жалею, что я не в Степи», оказалась подобной огню в лесном буреломе. Менее чем через месяц в наместничестве вспыхнуло массовое тюркское возмущение.

Ну, а у всякого подобного действия своя судьба и вожди, начало его и конец...

«Поднимая восстание, тюрки пошли на безнадежную авантюру: они были в центре государства и окружены врагами со всех сторон, у них не было ни тыла, ни союзников, ни численного превосходства. Они сами этого не могли не понимать и все-таки восстали! – спустя много и много лет воскликнет в неподражаемом изумлении любопытствующий историк. – При этом ни китайские, ни тюркские источники не говорят об обидах или невыносимом угнетении. Древние сообщения прямо говорят, что тюрки выступили не ради улучшения своей жизни, а ради дикой воли и власти. Не думая отдавать государству Табгач (так в Степи называлась по-старому северная часть застенных степных пространств) свои труды и свои силы, тюркский народ (*turk budun*) говорил: «лучше погубим себя и искореним». И они пошли к своей гибели».

Рядовое, обычное происшествие в жизни людей, по сегодняшний день не научившихся решать иначе вопросы мира, взаимного уважения и равноправия, послужило началом кровавого противостояния, растянувшегося на пятьдесят с лишним лет.

«Когда говорят о людях, достигших в силу своих личных качеств высокой власти, то обыкновенно вспоминают Наполеона. Следует заметить, что между ним и Тайцзуном Ли Ши-минем много общего. И тот и другой начали армейскими лейтенантами, выдвинулись своими талантами и оба умели привязывать к себе своих соратников. Оба были храбры и умны и сыграли огромную роль в жизни своих народов. Но дело Наполеона рухнуло при его жизни, а дело Тайцзуна пережило его на сто лет. У Наполеона был Фуше, а Тайцзун заявил: «Царствующий не должен никого подозревать, а подозревая из-за собственной слабости – не мстить». При Наполеоне царило *grande stlence de l'Еrmprie*, а при Тайцзуне расцвела культура. Наполеоновская Франция нуждалась в самых необходимых продуктах: кофе, сахаре и т. п., а Тайцзун дал китайскому народу такое изобилие, какого не знали до него. Будировали только конфуцианские интеллигенты, которые упрекали императора в склонности к женскому полу, в привязанности к буддизму, любви к войнам. Конфуцианцы особенно осуждали его дружбу с кочевниками, но здесь они открыли свои карты: идея Империи для них была неприемлема, они не хотели дружбы с тюрками и монголами и сочувствовали старой политике дома Суй, несмотря на то, что знали ее последствия. Престолу новой династии Тан было не страшно брюзжание нескольких грамотеев, так как императору верой и правдой служили все кочевые войска, а популярность его в народе не имела сравнений...» – Напишет один из ученых мужей спустя тринадцать веков о человеке и властелине, создавшем эпоху, которая столь неожиданно начала рушиться...

Умно и безнадежно глупо люди рассуждают чаще всего о войне, хотя понимают, что всякой войне в мире разума – маленькой и большой, «освободительной» или «захватниче-

ской» – ни оправданий, ни снисхождений, ни, тем более, восхвалений быть не должно. За всякую насильственную смерть должно следовать жестокое немедленное, неизбежное наказание.

За всякую. За любого погубленного солдата и гражданина.

Что же с разумом людей, сколь еще умирать за пустые, по сути Великого Смысла, идеи мелких земных богов и вождей? За кем следующим, под каким «светлым» лозунгом эфемерного счастья им снова идти насиловать, рушить чужое?..

Почему для каждого народа велик почти всякий «свой» вождь, кто жестоко, победно в прошлом сражался?

Нет ответов на это и в священных писаниях, зато о гнете от войн, «справедливости» войн, неизбежности войн, о божьей войне – конце Света, предостаточно...

Отдавая дань памяти прошлого, стоит ли его поощрять и возвеличивать?

Нужно ли возвеличивать само грешное бытие человека?

Глава первая ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ ЧАНЬАНИ

МОНАХ И ЗАБАВЫ ПРИНЦА

Дворцовая трехъярусная зала большого императорского совета была переполнена. Шаньюи-князья и вельможи первой руки, сановники, прочая высшая знать Поднебесной, посланники ближних и дальних народов, знающих заранее свое место на одной из этих вместительных площадок, томились ожиданием выхода Божественного Владыки. Поднеся ко лбу руки, соединенные ладонями, согнувшись в почтительном поклоне, они замерли, каждый на коврике, не смея роптать, изнемогая в истоме надежд и опасений, внутренне трепеща от божественной силы, которая вот-вот пригнет к самому полу. Среди них не было и не могло быть недовольных, здесь собрались только покорные.

На своеобразном алтаре главного подиума залы, освещенной тысячами жирников и лампадок, возносясь над ярусами и специальными боковыми площадками, тускло мерцали два царственных трона, сотворенные искусными ваятелями из черного дерева и слоновой кости. Каждый стоял на массивных приземистых ножках, изображавших сплюснутые головы драконов, усмирённых в меру, но готовых в любое мгновение изрыгнуть всепожирающий огонь гнева.

В отсутствие царственных особ мрачновато хищные троны владычествовали, кажется, сами по себе.

Высшая власть неподсудна для тех, кем управляет; она не может осуждаться и должна подавлять величием ожидания. Торжественная обстановка, продуманный до мелочей церемониал с эффектами света и звуков, усиливают ее мистическое могущество. Они отрабатываются и шлифуются веками, расписаны до мелочей, заложены в каждый шаг и движение слуг и рабов, призванных возвеличивать ее неустанно собственным напряженным дыханием. Такие важные церемонии не должны нарушаться, но императором Гаоцзуном они нарушались все чаще.

Император был болен, слаб телесно, что не являлось тайной, жил давно нелюдимо. В повседневных делах верховенствовали императрица и монах Сянь Мынь – главный ее дворцовый советник. Вроде бы особенно не вникая, не подписывая указы, не раздавая чины, звания, должности, не вынося смертных приговоров, монах принимал важные решения и получал полную поддержку императрицы, имея свободный доступ к ней в любое время дня и ночи. Об этом опасливо шептались, стыдливо уводили глаза.

Подсказав императрице не спешить с выходом, чтобы немного потомить разжиревших вельмож, монах шел по саду к бассейну с беседками, где развился юный наследник.

День был пасмурный. Сильный северный ветер нес над столицей тысячелетней империи массу песка, степной пыли. Земля изредка вздрагивала от приглушенных раскатов далекого грома, словно Небо сердито предупреждало бегающих и снующих людей о нарастающем гневe. Но дождя не было. Не было мрачных туч, обычно опускающихся под свинцовой тяжестью на островерхие тополя, крыши храмов и пагод с вывернутыми углами, башни крепостных стен Чаньани, богатые и бедные жилища. Кованные решетчатые ворота, разделяющие город на отдельные территории и закрывающиеся на ночь, оставались растворенными, пыльные базары продолжали шуметь и горланить.

Звонкие голоса слышались в дворцовом саду, среди цветущих кустов и деревьев. Одежды наследника, знатных мальчиков, резвящихся с ним, были просты и свободны, принц

выглядел в них не столь худым, неуклюжим и длинноногим. Зато девочки в ярких, воздушных платицах походили на порхающих бабочек, и каждая пыталась привлечь внимание принца именно на себя. Он бегал за ними, никого не выделяя, ловил, дергал за волосы или платице, падал на траву, смеялся взахлеб и глуповато визжал.

Поблизости озорные забавы наследника охраняли бритоголовые служители в белых одеяниях, с длинными посохами. Воины-стражи дворцовой императорской дивизии – одной из восьми дивизий, размещенных в столице с тех пор, как армия Тибета, смяв приграничные китайские гарнизоны, едва не оказалась под стенами Чаньани, – стояли на отдалении, почти плечом к плечу.

Проследовав беспрепятственно заслоны, монах подошел к стройному военачальнику с черными волосами, схваченными на затылке голубой шелковой лентой, и, унимая одышку, спросил, потирая пухлой ладонью багровый шрам на обритой голове:

– Скоро начнется совет, Тан-Уйгу, наследника известили? Как наши успехи?

– Поручение для меня непривычное, стараюсь, – смущенно ответил офицер, пытаясь перехватить разбежавшегося излишне резвого наследника и сделать строгое замечание.

Мальчик увернулся и убежал.

Провожая его прищурившимся взглядом, монах сказал:

– Будь настойчив, Уйгу, в наших руках будущее великой империи, не забывай.

– Да, учитель. – Офицер низко поклонился.

Ни принц, ни его бесшабашные друзья не обратили внимания на появление монаха, но девочки явно испугались, их резвость упала. Монах это почувствовал и тонкоголосо закричал, пришепывая ладонями:

– Ну! Ну! Что скисли, будто на вас напустили стаю собак? Догоняйте, не давайте принцу покоя.

Его шумный призыв не возымел действия, охваченные смущением, свойственным детям, девочки сникли, принц начинал сердиться, больно дергал за косы. Послышались всхлипывания. Офицер хмурился, не решаясь вмешиваться, но монаху поведение мальчика, кажется, нравилось. Изредка подзывая то одну, то другую девочку, обиженную принцем, Сянь Мынь хвалил ее за терпение, призывал быть смелой в отношениях с принцем или осуждал за вялость и робость в непонятной игре. Иногда шумным восклицанием он подбадривал самого принца, или наоборот, высказывал и ему недовольство. Юноши затевали борьбу, схватки на саблях и пиках, принц всюду встревал, и ему преднамеренно уступали, заставляя офицера недовольно морщиться.

– Тан-Уйгу, он... У него никакого волнения плоти! – сокрушенно воскликнул монах, и руки его, подсказывающие постоянно что-то принцессам, опустились.

– Принц – мальчик, Сянь Мынь, – произнес офицер, странно взблеснув глазами. – Не спешишь ли сделать его мужчиной?

– Только познав прошлое, устремляйся в будущее, – туманно изрек монах.

– Я создаю гибким и сильным тело наследника, ты, монах, его разум, – сухо сказал Тан-Уйгу. – Я окружаю его теми, с кем он взойдет на трон, будет достойно править, но твои заботы необычные.

– Озабоченные чувствительностью царственной плоти, ее увлечениями, озабочены будущим самой Поднебесной империи, – высокомерно проворчал монах. – Чувственные слабости монархов рожают государственную слепоту. Пусть с детства познают всякую слабость, охлаждаются и привыкнут, как привыкают к приятной или неприятной пище.

– Женская плоть только пища? – будто бы удивился офицер-наставник.

– Одно от другого – как посмотреть, Тан-Уйгу. Как посмотреть! Что надо одному в другом? Все мы кому-то пища. Попробуй дать, а потом отобрать, – неохотно, несколько скованно произнес монах, продолжая поглядывать в сторону принца.

Офицер усмехнулся:

– Монах утверждает, что женщина не должна вызывать желания и доставлять наслаждение?

– Я говорю о повелителях, для которых желание обладать женщиной должно стать обычной грубой пищей, не затрагивающей царственного ума. Как бы само собой, пришло, удовлетворило и удалилось. Безудержные вожеления и безумный эфир в голове приводят к печальным последствиям, Тан-Уйгу.

И все же, насколько понял наставник наследника по боевым искусствам, дворцовый священнослужитель думал уже не о принце. Острый взгляд его потух, глаза совсем сузились, словно бы он погружался в легкую дрему. Тонкости поведения монаха, были знакомы воспитателю наставника, именно в таком состоянии советник императрицы принимал самые ответственные решения, и офицер почтительно промолчал.

Прежде чем получить высокое назначение, тюрк-офицер прошел строгий отбор. Он победил в нескольких опасных поединках, точнее поразил мишени стрелами, выстоял с двухручным мечом в упражнениях высоко на канате, показал глубокие исторические знания о судьбоносных походах и битвах. Доказав, что не плохо разбирается в мировой картографии, выдержал изощренный допрос придворных летописцев на знание прошлого не только Поднебесной, но и ближайших соседей, чем склонил окончательно чашу весов в свою пользу. Выбранный не без колебаний лично Сянь Мынем из последних трех кандидатов, представленный на мимолетный окончательный суд императрице, он служил при дворе второй год, и находился под неусыпным наблюдением Сянь Мыня. Ни мать-императрица, ни властвующий отец воспитанием старшего принца, как и второго, малолетнего Ли Даня, почти не интересовались, всем занимался монах, все лежало на нем.

Впрочем, и Сянь Мынь, сосредоточившись лишь на старшем наследнике, воспитанием младшего почти не занимался, передоверив монахом. Ли Дань большую часть времени жил в монастыре и братья встречались редко, но если судьба сводила их под родительским кровом, рождалась неизбежная ссора и обычная драка, вынуждая монаха к решительным действиям. Причем, непременно на стороне старшего, внушая младшему быть покорным будущему правителю Поднебесной...

– Ты хочешь что-то сказать, Тан-Уйгу? Тогда возражай, почему замолчал? – произнес монах, поразив офицера проницательностью.

– Да, мой учитель, я не настолько сведущ в воспитании детей, но хочу выразить несогласие, – заговорил Тан-Уйгу осторожно, и сказал как бы в оправдание проявленной смелости: – Беседы с тобой помогают иначе увидеть себя, и поменяться к лучшему.

Восточная лесть коварна не всегда приметной обольстительностью и безотказно действует на подсознание. Она ненавязчива для того, кто впитал ее с молоком родительницы, не утомляет, как состязание, даже когда ее много, но Тан-Уйгу редко злоупотреблял качественной стороной лизоблудства, и тем ощутимей был результат. Сянь Мынь самодовольно расслабился и произнес:

– Разум по-настоящему крепнет в споре с собой, в споре с другими твой разум подобен лисе. Вот и мужай вместе с принцем, становись крепче на ноги, я помогу нужным советом. – Заметив прихрамывающую принцессу, он строго прикрикнул: – Инь-шу, сладенькая любимица великой У-хоу! Неужели уступишь кому-то принца, огорчив любящую тебя госпожу! Иди, не хромай! Беги, верещи, как птичка летай! Заставь юное сердце будущего императора затрепетать! Тебя не учили настолько простому? Посмотри, как другие проворны? – И снова, словно стряхнув дрему, подавлявшую минуту назад, монах обратил расплывшееся в улыбке лицо к офицеру: – Говори, говори, Тан-Уйгу, и думай только о Ли Сяне! В нем твое и мое будущее, не забывай. – Лукаво сощурившись, вдруг спросил, театрально указывая в сторону

визжащих рядом девочек: – Помни, ты выбран наставником принца по боевым искусствам. Где его боевой дух в этих сражениях? Не вижу, не вижу, но придет час, спрошу.

Должно быть, приняв непростое решение, монах на глазах ободрился, уже излучал благодушие, был доволен собой. Тан-Уйгу решил закрепить успех и воскликнул:

– Я помню, учитель, из многих ты выбрал, меня, постараюсь не подвести.

Восклицание офицера было искренним, монах сдержанно улыбнулся:

– Я увидел в тебе не силу руки, равной которой нет у других молодых офицеров, не твердый взгляд и не знания, которые заставили потупиться искушенных экзаменаторов, а свое прошлое, устремленное в бесконечность. Ты жаждешь власти, едва ли подозревая о том, и ты осторожен. Будь всегда рядом, наш общий дух возвысит нас на благо Поднебесной.

– Я – тюрк, инородец! – в порыве откровенности воскликнул офицер и оборвал себя.

– И я не китаец, – усмехнулся монах доверительно, почти простодушно.

– Времена изменились, Сянь Мынь, – вздохнул Тан-Уйгу, и в его глазах проступила глубокая грусть.

– Тебе что за дело, они обязаны меняться! Думай: кто их меняет, зачем. Умей угадать – не способный сам изменить. Ты стал наследнику ближе всех; он скоро взойдет новым солнцем Востока, ослепляющим взоры смертных! Кем станешь ты, подумай! Приближенным из приближенных, имеющим власть наставлять и... расставлять!

– Принц любит старые времена, хочет знать прошлое, я бываю в затруднении. Для него нет запретного, – с уклончивой сомнительностью произнес офицер.

– Знаю. – Монах засопел недовольно. – Влияние историка с высохшими мозгами Цуй-юня и его писанины, которую давно надо сжечь. Но ты не глуп. Слушай, включайся в споры, настаивай. Смелей, не уступай никому наследника и достигнешь нужных высот, не забывая меня в близкой старости.

– Учитель, я воин! – воскликнул офицер. – Наставлять, подобно тебе, не могу.

– Что первично в живом, Тан-Уйгу? – Нравоучительно воскликнул монах и строго продолжил: – Тело, часть плоти, истязавшей себя вечной похотью. Телу холодно – оно посылает просьбу сознанию. Тело жаждет пищи, сна, забавы – сознание находит путь к утолению неистребимой жажды. Богатство, тщеславие, царственное высокомерие: такие устремления – предел ничтожных. Женщина, власть – устремление сильных. Желание женщины выше желаний власти, богатств, не так? Тогда научись управлять самой женщиной.

– Не совсем... Я не совсем согласен, – Офицер сохранял настороженность.

– Абсолюта нет в любом понимании истины, будь это истины Кон-фу или Будды. Наш разум достаточно разит и подготовлен к возможному противостоянию, но тело не знает и не узнает. Оно жаждет! Ему наплевать! Оно яростно просит, подчиняя себе уступчивое сознание. Опережая час неизбежного, мы помогаем наследнику познать самого себя. Скоро мы женим его, кто тогда будет над всеми? Думай, Уйгу! Думай, пока время на нашей стороне, не упusti...

Намеки монаха в отношении собственного будущего, его опасения по поводу женщин, правящих династиями, были и неожиданными и более чем откровенными, но не возымели действия, на которое, были рассчитаны. Смуглое лицо Тан-Уйгу напряглось, в глазах промелькнула настороженность, несколько озадачившая монаха. Несмотря на относительную молодость, тюрк был явно не глуп, привлекал дворцового священнослужителя. Его быстрый, цепкий взгляд, кажущийся покорно уступчивым, вводил в заблуждение, но, схватывая многое на лету с полуслова, был способен проникать в собеседника гораздо глубже, чем предполагал сам собеседник. В нем угадывалась большая внутренняя сила и привлекавшая монаха и настораживающая. Но в превосходстве своем Сянь Мынь, конечно же, не сомневался; ему нравилось общаться с незаурядно мыслящим тюрком и он, не без основания считая себя его главным опекуном и учителем, часто поощрял к действиям, обозначая лишь

конечную цель и не объясняя ее скрытый смысл. Император был стар и бездеятелен, в жизни государства назревали значительные перемены. Разумеется, под его руководством, как высшего столичного священнослужителя. К ним нужно было подготовиться заранее, для чего нужны очень преданные и толковые люди. Много умных, незаурядных единомышленников, способных к решительным действиям в новых условиях. К действиям, указывать на которые станет он, верный сын Будды. Но таких людей становится меньше и меньше; не испытывая нужды в слепых исполнителях, монах очень нуждался в способных думать и только потом совершать. И даже – не потом, а когда последует его команда.

Молодой тюркский офицер казался таким, с ним стоило повозиться. Как инородец претендовать на многое не может, но стараться ради собственного благополучия обязан. И если действительно не дурак, со временем будет стоять дюжины нынешних высших сановников и генералов...

К сожалению, учитель чаще слеп, чем прозорлив, в отношениях с учеником, на которого возлагает большие надежды.

– Разум телу – ты так считаешь, Сянь Мынь? – Лукавство, незаметное для монаха, взблеснуло снова в глазах офицера.

– Именно. Управлять духом, страстью, телом сложнее, чем армией, воинством. Сила правителя – не в армиях. Она – в его воле, решительных действиях, направленных на опережение противника.

– Многим ли нужен такой сильный правитель! Ты не дразнишь меня, учитель? – приподняв широкие черные брови, с прежним лукавством спросил Тан-Уйгу.

Монах был увлечен, поведение тюрка его не интересовало; он твердо произнес:

– Управлять глупым – необходимость, служить умному – потребность. Не каждый из множества одинаково востребован и глупым и умным, но кто-то нужен всегда. Не так? Каждый из нас кому-то необходим. Не думай, как навязывают, думай, перемешивая и перемешивая в себе. Ищи выгоду, не переступая черты здравомыслия. Страсть давит на разум и чувства, поработав тело. И то, и другое вечно в плену, устроенном самим человеком – еще возразишь? Мужчине нужна женщина, женщине – мужчина. Разве принц – не мужчина по плоти?

Монах сказал больше, значительно больше, чем должен был. По опыту дворцовой жизни Тан-Уйгу опасался всегда вышестоящих, которые вдруг начинали откровенничать с ним, требуя ответного доверия. Коварство тем и коварно, что у него ни правил, ни пределов – инородцу это не знать?

– А монахи и старцы? Провидцы и праведники? Добровольно страждущие и умиряющие себя? Ты сам, наконец, Сянь Мынь, и сила в тебе? – нарочито простодушно вопрошал Тан-Уйгу.

Возбужденный недавней беседой с императрицей, которой внушал, как дальновидней вести важный совет, – именно ей, не Гаоцзуну – продолжавший строить другие близкие и дальнесрочные планы, монах был в ударе собственных откровений, охотно подхватил новую мысль.

– Можно бороться, можно противиться, можно себя оскотить. Можно, можно, можно! Но нельзя победить то, что посылается нам в голову телом, – говорил монах, хотя, не вступая в противоречия с саном, так говорить не пристало, и не без удовольствия слушал себя.

– Что разрешено каждому из нас, Сянь Мынь, я в замешательстве? – спросил Тан-Уйгу. Вопрос пришелся монаху по нраву, он произнес:

– Ты умней, чем я думал. Толпу можно всегда изменить, повелевая ленивым и тупым сознанием, а Бог создал на наше счастье людей в массе своей именно такими, от чего никуда не уйдешь. Стань способным приказывать, не выражая сомнений. Готовясь отнять жирную кость, готовь сладкое слово, доверив прокричать кому-то другому. Добьешься, сильно желая.

– Сейчас в тебе говорит не монах, Сянь Мынь.

– Монах – тот же евнух. Умерщвляя часть своего существа, монах усиливает остальную его часть и становится... тем, кем становится. Многие из нас – обычные евнухи в том, что касается собственного сознания, не понимающие этого, к сожалению. Да, в общем, любой человек в чем-то евнух. Упорно отвергающие простую истину потому упорствуют, что признание ее лишает надуманного величия и пустого тщеславия. Кто монах без величия – бурдюк с кашей, пустышка. Не зная истины, он не столько ищет, сколько пытается доказать, принуждая поверить искуснейшему в доказательствах. В пагоды и кумирни приходят, чтобы поверить.

– Как сейчас я должен поверить искусству твоего красноречия? – офицер добродушно усмехнулся, вновь поразив монаха способностью тонко понимать собеседника и готовностью, не унижившись, уступить в подходящий момент.

– Вот как, я буду с тобой осторожней! – самодовольно воскликнул монах, словно поощряя, и строго произнес, возвращая беседу в прежнее русло: – Наследнику надо скорее помочь в выборе царственной розы. Очень подходит Инь-шу... Любопытно, я только сейчас подумал о ней! Ее корень в старой династии, родитель во главе Палаты чинов!.. Но и Вэй-шей очень приятна, тебе не кажется? Инь-шу и Вэй-шей! Инь-шу и Вэй-шей! Вот задачка, Уйгу!

Взгляд монаха стал испытующим и холодным, и не был направлен в упор. О-оо, этот взгляд – будто мельком и мимо! Тан-Уйгу его знал и ответил не менее холодно:

– Я тренирую руку, глаз принца-воина, другие заботы совсем не мои.

Холодный ответ офицера понравился монаху, но не удовлетворил, Сянь Мынь произнес:

– Старость не может услышать молодость прежней горячей кровью, она способна ошибиться. Присмотришься к этим девочкам, Тан-Уйгу, потом снова спрошу. Инь-шу и Вэй-шей! Но князь-родитель опасен приверженностью к старым временам, канувшим в Лету. Очень опасен... И все же, скорее, Инь-шу.

Задумавшись, монах замолк. Молчал и Тан-Уйгу. Оставаясь каждый в себе, они продолжали внимательно наблюдать за принцем, детский разум которого беззаботно воспринимал только солнце, запахи сада, ласковый ветер, и оставался неспособным пока поддаваться прочим житейским соблазнам. Кровь его возбуждалась желаниями мальчика, но не мужчины.

Будто стряхивая минутное оцепенение, Сянь Мынь устало сказал:

– Великая обеспокоена, Гаоцзун быстро стареет – я только что с ней говорил... Мальчику скоро быть императором.

* * *

Беседа молодому офицеру показалась не то чтобы странной – Сянь Мынь имел склонность к многосложным наставлениям и поучениям, – она показалась нарочито двусмысленной и предостерегающей. Она требовала не столько быстрых ответов, сколько необходимых монаху и воспитателю принца невольно задумался. К счастью, подбежал запыхавшийся офицер дворцовой стражи и, низко поклонившись, произнес, что наследнику пора в тронную залу.

Изменив осанку, только изображавшую подобострастие и повышенное внимание, наставник поспешно шлепнул в ладоши.

– Наследника трона тысячелетней империи ожидают на заседании военного совета, – произнес он громко и властно.

– А ну их, – нисколько не смутился принц, занятый азартной погоней за одной из принцесс и, нагнав, столкнул в бассейн, торжествующе заверещав: – Ага, убежала! Не убежишь, попробуй теперь выбраться!

До бортиков было высоко, девочка судорожно барахталась под стенкой бассейна; принц не позволял ухватиться за гладкие камни и торжествующе вскрикивал:

– Ой, ой, глядите на нее! Она даже плавать не умеет. Дрыгается как лягушка.

– Ты становишься грубым, принц, – раздраженно произнес наставник, решительно подвинув мальчика в сторону и помогая принцессе выбраться из воды. – Власть отца над детьми безгранична, ты разве не должен спешить на его зов, отринув забавы немедленно?

– Тан-Уйгу, я не люблю слушать умные речи, я засыпаю. Иди, и расскажешь. Эй, мокрая кукла, куда? – полный азарта, принц ухватил девочку за мокрое платье.

Он грубо, неловко ухватил принцессу; поскользнувшись на траве, девочка упала на спину. Испуганно задергала ногами, пытаясь собраться в комок. Принц вдруг замер, носком сандалии приподнял до колен девочки мокрое платье, злорадно расхохотался.

– Так, так! – прикрывая рукой смеющиеся губы, удовлетворенно воскликнул монах.

– Что там, Ан-ло? Что у тебя? – потешался принц.

– Видишь, как просто, Уйгу! В человеке все просто, – говорил Сянь Мынь, поспешно удаляясь.

Голова монаха, похожая на гладкий шар, блестела. Страшный шрам, сбегаящий по затылку почти до шеи, был розовато-теплым и вовсе сейчас не страшным.

Выждав, пока Сянь Мынь отойдет подальше, Тан-Уйгу сказал укоризненно, строго:

– Принц дерзок постыдно! Не хочешь быть воином чести? Я доложу всесильной матери-императрице, отправляйся под надзор строгих монахов.

– О, Тан-Уйгу, – мальчик досадливо и несколько наигранно вскинул руки, – только не это! Что постыдного, что всем известно? Тан-Уйгу, ты обещал мне новых друзей, способных помочь в учении, а присылают княжеских недотеп! Они поддаются нарочно, ну чему так научишься?

Способность юного принца подражать невозмутимости взрослых и непроизвольно менять тему беседы, задела самолюбие, подумав, что неплохо поступать сходным образом и не став продолжать нравоучения, наставник сухо сказал:

– Они скоро будут. Из Ордоса и Маньчжурии. Я сам поеду за ними.

– На севере беспокойство, у твоих тюрок, как ты поедешь? – спросил принц, с любопытством взглянув на наставника.

– Успокойся мятеж, и поеду, – не выдавая волнения, ответил ровно наставник, конечно же, тайно сострадающий соплеменникам, ввязавшимся в кровавую драку, в которой они неизбежно погибнут или будут схвачены, как бунтовщики, и безжалостно казнены.

Впрочем, сочувствовать и сострадать возмущившимся тюнкам-сородичам для него не означало полностью поддерживать, но сведения о восставших были крайне скудны. Князя-старейшину ашину-Ашидэ, называемого главным смутьяном, он знал хорошо, был дружен с его старшим сыном, поднявшимся до столоначальника в Палате чинов, и за юношу опасался.

– У них за вождя Баз-каган? – допытывался Ли Сянь.

– Баз-каган управляет телесскими и уйгурскими народами, которые сейчас в Степи у Байгала самые главные, а возмутились тюрки на Желтой реке. Может начаться в Ордосе и в Алашани – наставительно произнес Тан-Уйгу.

– Ты тоже тюрк, Тан-Уйгу?

– По крови отца – тюрк, – ответил наставник и нахмурился, ожидая неприятных вопросов.

– Тогда почему ты не с ними? – спросил наследник, подняв на Тан-Уйгу глаза полные детского недоумения. – Кому у нас нужны тюрки? Когда ты не нужен, сам ищешь дорогу.

Рассуждения принца были более чем опасны, монаху лучше не знать; перебивая Ли Сяня, Тан-Уйгу сказал, пытаясь увести разговор в сторону:

– Когда-то твой дед, император Тайцзун, заставил нас, диких детей Степи, посещать его мудрые школы. С тех пор я нашел свое и благодарен.

– А те, кто в Степи, ничего не нашли? – разочарованно спросил наследник.

Сердце Тан-Уйгу заныло: нашел, не нашел! Как объяснишь мальчишке, который едва ли понимает, о чем спрашивает?

– Не всё однозначно, мой принц, в жизни есть черное, белое, и есть серое.

– Историограф Цуй-юнь хвалит тюрок, рассказывает о генералах, среди которых были удалыцы. Почему ты ничего не рассказываешь, Тан-Уйгу?

– Поговорим, успеем еще, сейчас поспеши на совет, – преодолевая волнение и странное беспокойство, произнес воспитатель Тан-Уйгу, уступая дорогу будущему повелителю срединных земель Поднебесной.

В ТРОННОЙ ЗАЛЕ ИМПЕРИИ

Разными способами властвуют правители, и не все только грозно. Император Гаоцзун в прошлом любил управлять и повелевать без излишней жестокости, и царственная надменность в нем особенно не выпирала. Перемены произошли с появлением во дворце юной Цзэ-тянь. Всячески угождая любимой наложнице, возвращенной из монастыря не без согласия законной императрицы, он стал казнить и миловать уже по ее подсказкам, уверенный, что этого хочет божественная высшая сила. По понятным причинам придворные сановники были другого мнения, но кто станет прислушиваться к ним? Исполняя императорскую волю, чиновникам постоянно приходилось считаться с той, кто, затуманил разум Гаоцзуна еще при жизни его отца. Вернувшись во дворец в окружении монахов совсем не смиренной послушницей, она продолжала управлять слабовольным императором и хищно властвовать, достигая новых высот и желанной независимости. Как следует помучив, вынудив его «облизывать тычинки лотоса» или «забавы с киской», к чему ее приучил изощренный монах Сянь Мынь, убедив, что это единственный способ управления самонадеянными и жестокими мужчинами, пустив, наконец, слабовольного императора на свое ложе, понеся от него и, родив Гаоцзуну сначала одного мальчика-наследника, потом, под загадочные перешептывания, другого, что никак не удавалось самой императрице, рожаящей только мертвых детей, она стремительно набирала силу. Не прошло и трех смутных лет, как наложница по имени Цзэ-тянь стала называться новой императрицей У-хоу, избавившись не без помощи монахов от госпожи, опрометчиво впустившей ее во дворец и покои. Но император как-то быстро сник, увял и состарился, утратил интерес к делам, теперь с ним считались, лишь внешне, напряженно прислушиваясь к любому вздоху и самому незначительному движению Солнцеподобной У-хоу. Словно бы в издевательство над грубым мужским сословием, унижавшим ее столько лет, и торжества женского превосходства, властвующая императрица, увлеченная далекими событиями великих предшественниц Египта, ввела в придворный этикет этот церемониал обязательного «облизывания тычинок лотоса». Искусная картина с фаворитом-любовником, стоящим перед ней на коленях во время официального приема и облизывающего ее обнаженные гениталии, была на самом видном месте при входе в ее апартаменты, выставленная для всеобщего обозрения.

Свободные шелковые одежды китайского императора скрывали особенности его фигуры, и лишь немногие знали, насколько Гаоцзун худ, невзрачен телесно. Отрешенное лицо императора, напыщенное, напудренное, с подкрашенными редкими усами, длинной седой бородкой, выглядело абсолютно бесстрастным. Императорская чета на троне напоминала два неподвижных каменных изваяния. Правда, движение мысли в У-хоу выдавал острый взгляд. Он проникал всюду, пригвождал, постоянно тревожил присутствующих в зале вельмож, наместников-генералов, прочую знать, допускаемую на совет.

Доклад военного канцлера-шаньюя был, как всегда, витиеват и велеречив. Начал он с положения на тибетском направлении, где после кончины правителя-цэнпо и возникших в Тибете внутренних распрей накал военных действий заметно снизился. Затем воздал должное полевому генералу Хин-кяню, бескровно пленившему джунгарского хана-изменника Дучжи, представив совету самого генерала. И только затем канцлер перешел к вопросу, ради которого в основном был собран совет, озабоченно заявив, что теперь куда опаснее положение на северных границах державы, где возмутились тюрки бывшей Степи, когда-то переселенные прежним правителем в приграничные области Поднебесной.

Он так и сказал небрежно, как для пробы, не спуская глаз с императрицы: «прежним правителем». Удовлетворение У-хоу не осталось незамеченным не только канцлером, как и неподдельный интерес к представленному генералу с приятно суровым обветренным лицом,

сохранявшим утонченные очертания. Внимательно следящие за каждым движением императрицы возбужденно переглянулись.

Правом восседать на мягких пристенных лавках обладали немногие; большая часть членов совета, тем более приглашенные, располагались на грубых циновках. Вместительный овальный зал был заполнен; взгляды устремлялись к подножию массивного трона из черного дерева с позолоченными драконами на подлокотниках. Императрица могла видеть всех, но чаще глядела в сторону генерала Хин-кяня.

– Ордосский старейшина Ашидэ, когда-то заручившийся благосклонностью прежнего правителя, благоволил к восставшим в Шаньюе, мы в ожидании неприятных вестей из Ордоса и Алашани, – скучно и монотонно закончил канцлер, не удержавшись от упрека в адрес бывшего повелителя Поднебесной.

– Ошибки правителя дорого стоят его терпеливому народу, – неприятно скрипуче произнесла императрица, снова задержавшись взглядом на генерале Хин-кяне. – Исправив многие прежние, исправим и эту. Повтори нам лучше легенду о принце Ашине и тюркской Праматери-Волчице, – подумав немного, произнесла она резче. – У диких народов и сочинительства из времен дикие.

– Солнцеподобная, я уступаю честь донести до твоего божественного слуха миф о далеком прошлом мужу более достойному в познании древности! – воскликнул канцлер, удовлетворенный, как прошел доклад. – Среди нас куда более искушенный в истории предков, твой летописец Цуй-юнь!

Источая преданностью, канцлер низко поклонился.

– Он старый и вздорный – этот историограф. В хрониках наших деяний он постоянно путает имена далеких народов, названия старых крепостей, количество наших побед и восхваляет вовсе не тех, кого следует. Нам приходится его поправлять, – недовольно произнесла У-хоу, вызвав испуг на лице канцлера. – Где он? Что скажешь, выживший из ума? – строго спросила она, взглядом отыскав крепкого старца-летописца, оказавшегося за спиной Хин-кяня.

– Я знаю не больше, чем знают другие, но больше каждого в отдельности, – сердито отозвался историк. – Как очевидец, я сообщаю будущему, что видели мои глаза и слышали уши. Мои хроники составляются не хитрым разумом, а совестью души. Историограф не может лишь услаждать, иногда его слова подобны полыни – так что из того, мудрая и справедливая? Прикажешь выжечь полынь?

– Не дерзи, твоя голова на шее не крепче других, – оборвала его императрица.

– Цуй-юнь – тень великих деяний твоего времени, дочь Справедливости! Чем ты опять недовольна? – старец поклонился императрице.

– Старческой болтливостью твоего усыхающего ума. Ты написал недавно, что силы Тибета огромны. Как ты их сосчитал, не покидая дворца?

– Слушая доклады твоих генералов, моя Справедливость. Побежденный недавно Жинь-гунь и государственный секретарь Линь Цзинь Сюань, едва не оказавшийся плененным, так утверждали в твоём присутствии, совет согласился.

– Он благоволил лишь воеводе старого императора Чан-чжи, Солнцеподобная, – обиженно воскликнул сияющий выпренно парадными одеждами генерал Жинь-гунь, упомянутый историком не с лучшей стороны.

– Чан-чжи? – императрица словно бы вздрогнула. – Что... этот Чан-чжи, он по-прежнему воевода? Ты его знаешь, историк?

– В молодости я ходил с императорской армией, в деле видел этого удалыца, состоявшего постоянно при императоре, – горделиво произнес историограф.

– И ты его снова увидел в деле? – высокомерно спросила У-хоу.

– О нем сказано в докладе Военной канцелярии, расследовавшей последнее поражение генерала Линь Цзиня. Воевода с несколькими сотнями пробился к нему в окружение и вывел остатки гибнущей армии. Это не тот генерал, которого стоит внести в хроники? Недавно Чан-чжи с тысячью воинов, опять отличился.

– Уж не доверить ли ему сразу армию? – Императрица пренебрежительно усмехнулась, но любопытство в ее глазах не исчезло.

– Будет достойно воеводы, Солцеподобная, – не сдавался историк. – Когда-то Чан-чжи, если соизволишь напомнить, командовал во дворце корпусом телохранителей императорского семейства Ли, ты забыла?

Упрямство историка, неосторожное напоминание подлежащего забвению, могло вызвать невероятный гнев императрицы, многие испуганно переглянулись.

– В императорских хрониках Чан-чжи возвеличен совсем не по заслугам, – поспешно вмешался генерал-госсоветник Линь Цзинь. – В сражении всегда находится незначительный военачальник с удачной судьбой.

– Отвага старого воина-льва, господин генерал Линь Цзинь, спасшего тебе жизнь, сохранившего остатки твоей разбежавшейся армии, достойны памяти будущих поколений... Как и твое поражение, изучение которого полностью не завершилось, – упрямылся гордый старик.

Императрица молчала.

– Солнцеподобная, поражение может постигнуть любого прославленного генерала, но разве ты это желаешь услышать? – подал голос военный министр. – Возмущение на Желтой реке было для нас неожиданным. Подумаешь, сместили немощного наместника! Иностранцы вообще не могут быть наместниками!

– Возмущение подняли все двадцать четыре уезда, Солнцеподобная! – уточнил несговорчивый историк. – Кто утверждает, что возмутились только вожди, говорит оскорбительное царственному слуху!

– Тебя не спрашивают о тюркских вождях, – досадуя на старика и явно пытаясь привлечь внимание императрицы к собственной персоне, воскликнул генерал Жинь-гунь. – Говори, о чем просят.

– Да, говори о степных разбойниках, которым давно нет доверия! Пора хоть что-то услышать. – Взгляд У-хоу погас, черты, будто разом состарившегося лица, заострились.

И тучный монах Сянь Мынь, прячущийся за ширмами, но всегда готовый прийти на помощь своей госпоже, вмиг посерел.

– В свете интересов совета можно сказать много, и мало, – решительно, словно выиграл важное сражение на поле кровавой битвы, произнес летописец. – Зародившись вождями среди жужаней и сяньбийцев, назвавшись впоследствии тюрками, они не чтят эти народы, вечно сражаются, но чтят хуннов. История не может иметь начало, потому что всегда что-то есть, что было раньше и раньше. Мою науку можно уподобить старухе, которая помнит девочкой более древнюю старуху. Или струе воды, у которой начало все-таки есть – ее исток. Но это начало потока, не самой капли. А капля?.. Или так – струя зерна, в которой каждое семя – есть нечто законченное и среди многих течет в жернова. Так вот, если наши предшественники – зерна потока, тогда я расскажу о начале эпохи пяти варварских племен. Когда случилась Великая Засуха и Великая Степь сошлась в поединке за благодатные земли Срединной Равнины, погибли многие. Из уцелевших сяньбиец Туфа увел свое поколение в Тибет, другой, под именем Ашина, с отрядом в пятьсот семейств, скрылся в предгорьях Алтая. Так зародились Тибетская империя и Тюркский каганат, а равнина по обе стороны Желтой реки, успокоившись, возродила нашу тысячелетнюю державу. Нам известна древняя легенда о первоистоке и принце Ашине. Она повествует о событиях у Змеиной горы в Алтынских горах, где в жестокой битве было уничтожено воинственное племя. Уцелел

только мальчик, спрятанный матерью под листьями в норе волчицы. Волчица заботилась о нем, и когда он возмужал, стала женой. Но юношу выследили другие воины и обезглавили: ведь он был последним хуннским принцем и законным владыкой Степи. Волчица скрылась в горах Гаочина и родила десять детей, старшему из которых дали имя Ашина. Пришло время, принцы взяли в жены лучших гаочинских девушек, заложив начало нового рода под именем ту-кю, то есть тюрк, дети волчицы. Собрав армию, Ашина вернулся на Алтай, под синим знаменем с пастью злобной волчицы, вышитой золотом, занял земли предков у Змеиной горы и на многие годы подчинил пространства Великой Степи от Согда и Мавераннахра до Маньчжурии. Первым правителем-каганом этой могучей и необъятной державы был Бумын с прозвищем Двурогий. Вскоре его брат Истеми, управлявший западной половиной державы и пожелавший сам стать каганом, расколол Степь по Иртышу. А последнего хана орхонских земель, Кат Иль-хана, тридцать лет назад усмирил, подчинив...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.